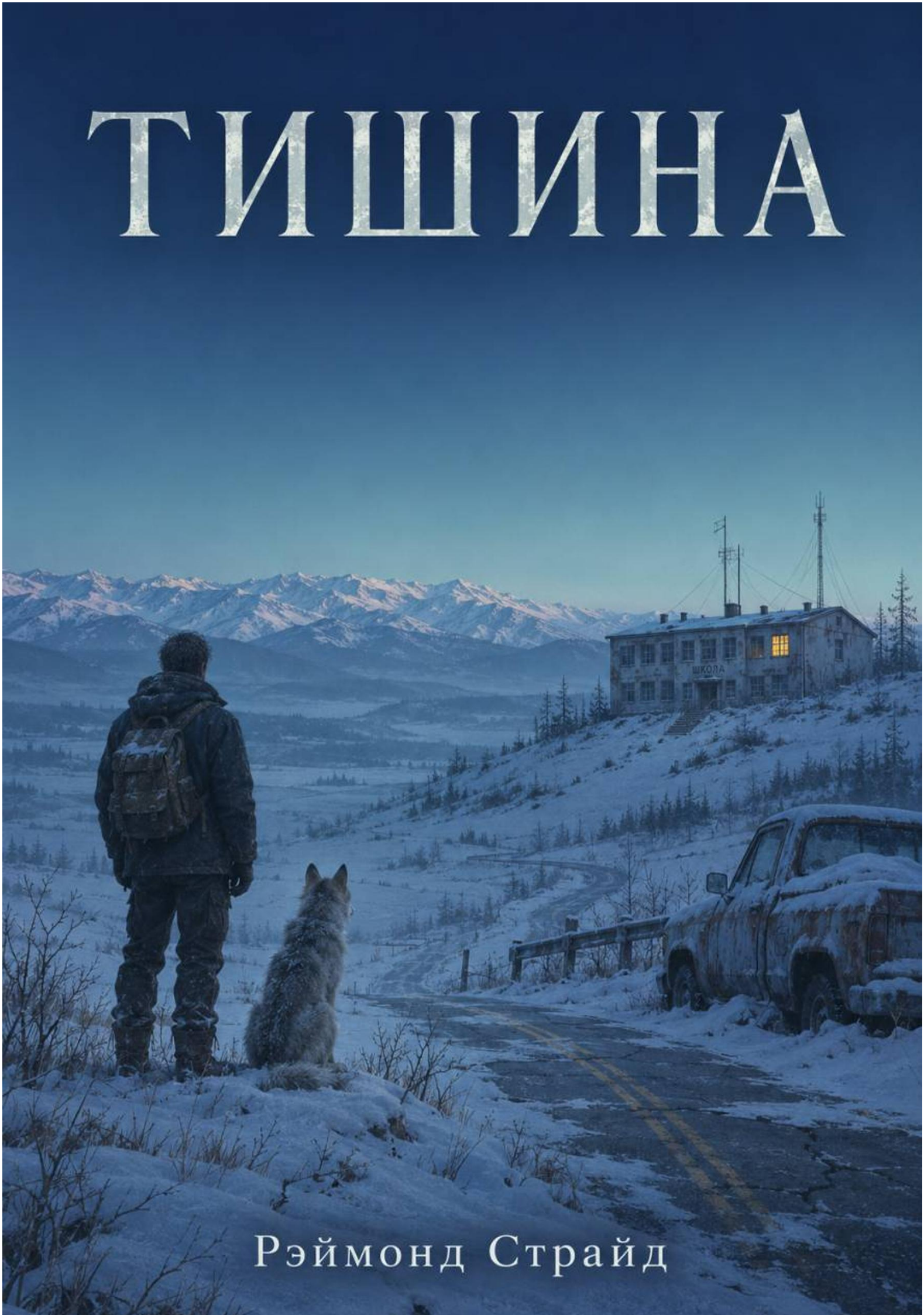
# ТИШИНА




Рэймонд Страйд

Рэймонд Страйд

# Тишина

«Автор»
2026

**Страйд Р.**

Тишина / Р. Страйд — «Автор», 2026

Дэн Мэйсон вернулся из восьмидневного похода и обнаружил, что мир закончился без него. Небо пусто, дороги стоят. В эфире не осталось ни одного голоса. Всё, что у него есть, это старый пикап, бывшая школа в горах, радиостанция и привычка вести журнал: точно, без жалости к себе, каждый день.Он учится жить, когда никто не придёт на помощь. Он ходит на склады за мешками муки, спорит с медведем у распахнутой двери, вскрывает зоопарк и находит там единственное, что можно спасти: волчонка. Рядом с ним Дэн снова начинает разговаривать вслух. Ему приходится выходить на охоту, считать патроны и фильтры и каждый вечер включать приёмник в то же время, на той же частоте.Зимой в эфире появляется сигнал. Он короткий и непонятный, но Дэн уверен, что человек его не придумал. Теперь нужно решить: ждать, искать или поехать.«Тишина» — медленный, плотный роман о выживании, дисциплине и том, как долго человек способен держаться за надежду, которую никто не подтверждает.

© Страйд Р., 2026
© Автор, 2026

# Содержание

Глава первая 5
Глава вторая 10
Глава третья 16
Глава четвёртая 22
Глава пятая 28
Глава шестая 34
Конец ознакомительного фрагмента. 36

# Рэймонд Страйд
# Тишина

## Глава первая

### ДЫМ

На рассвете восьмого дня иней схватил даже внутреннюю стенку палатки. Дэн лежал в спальнике и слушал горелку: ровное шипение, чуть хрипловатое на морозе. Вода в котелке ещё не грелась, а он уже знал весь день наперечёт — свернуть лагерь, спуститься по осыпи к верховьям Медвежьего ручья, к вечеру выйти на гряду, а завтра к полудню добраться до лесной стоянки, где под тентом дожидался его «форд». Старый пикап семьдесят девятого года он перебрал собственными руками, до последнего болта, и доверял ему больше, чем любому живому существу: канистры полные, лебёдка исправна, под сиденьем — карта лесных дорог, расчерченная его почерком.

Дэн выбрался наружу, и холод тут же забрался за шиворот. Хребет стоял в прозрачном синем воздухе, осенний, сухой, без единого облачка. Хороший день для перехода. Дэн разобрал палатку, уложил рюкзак по отработанной схеме — тяжёлое к спине, котелок сверху, коврик под клапан — и проверил нагрудный карман. На месте: сканер, рация, запасные батареи. И фотография, задвинутая в пластиковый кармашек бумажника: отделение, девять человек, Фаллуджа, ноябрь ноль четвёртого. Все по колено в песке, все смеются. Он не разглядывал её в горах. Он вообще старался её не разглядывать, но в поход брал всегда.

Телефон он включил один раз за неделю, в первый вечер, сверить время. Сети здесь не ловило, и это входило в план. В горах у него затихала голова — впервые за год, каждый год. Психотерапевт из ветеранского департамента величал это «избеганием»; Дэн величал это отпуском и на приём больше не ходил. Одному ему не было скучно никогда. Скука, по его давнему убеждению, претензия к собственной бедности, а бедным он себя не считал.

К гряде поднялся в пятом часу. Ноги знали эту тропу до последнего камня: девятый сентябрьский поход подряд, тот же маршрут, та же золотая стена осин справа, то же озеро внизу, чёрное от глубины. Дэн вышел на седловину, и первое, что он увидел, был дым.

Дым стоял над равниной там, где полагалось стоять Денверу.

Масштаб доходил не сразу. С высоты город читался весь, до самого горизонта: сетка пригородов, лента реки, а над деловым центром — стеклянные иглы небоскрёбов. Дым поднимался не из одной точки. Столбы тянулись по всему городу, десятками, и наверху ветер сносил их в общую стену, серо-жёлтую, рваную. Две башни горели сами по себе — пламя вылизывало этажи, и стекло в них оседало тяжёлыми чёрными каплями.

Дэн стащил рюкзак, достал бинокль. Руки действовали сами, а сознание отказывалось собрать картинку целиком. В окулярах город оставался тем же и не был тем же: кварталы, улицы, эстакады — и ни одного движения. Автострада, которая в этот час всегда стояла в пробке на выезде, лежала пустая, как взлётная полоса закрытого аэродрома. У больничного комплекса на дальнем краю, белого, с посадочной площадкой на крыше, площадка пустовала — а санитарные вертолёты в Денвере садились по нескольку раз на дню, он видел это всякий раз, когда бывал внизу.

И небо. Уловил он это не сразу, а когда уловил — вдоль позвоночника прошло холодное: небо над равниной было начисто пустым. Денверский аэропорт, один из самых загруженных в стране, гнал над хребтом борта каждые три минуты; весь сентябрь он засекал их по белым следам. Сейчас отсюда и до границы Канзаса не тянулось ни одной инверсионной нити. Ни одной.

Телефон он включил. Сеть мигнула одной палочкой и умерла. Входящих не было. Номер окружного шерифа дал сперва длинные гудки, потом короткие. Девять-один-один ответил механический голос: «все операторы заняты», — а через минуту не стало и голоса. Дэн стоял на ветру и поймал себя на том, что перебирает в уме, кому бы позвонить. Перебирать было нечего. Мать умерла шесть лет назад. Разведён дважды, детей нет. Из отделения не осталось никого — он знал это точно, у него были годы, чтобы выяснить. Список существ, которые заметили бы его отсутствие, оканчивался на почтовом ящике, который раз в неделю проверял сосед за три мили.

Спускаться вечером не имело смысла: до стоянки четыре часа ходу, половина впотьмах. Палатку он поставил за гребнем, в пяти минутах от седловины, достал сканер и до темноты ходил на гряду. Дым к ночи поредел, зато осталось зарево — рыжая полоса над городом, неровная, дышащая. Больше на равнине не горело ничего.

Денвер он знал ночным. Знал, как издалека читается уличная сетка — мили фонарей до горизонта, как светится подсветка на мачтах стадиона, как перемигиваются красные огни на башнях, предупреждая борта. Теперь не светилось ничего. Темнота лежала сплошная, и только зарево колыхалось над ней, и от этого колыхания темнота делалась ещё плотнее.

Сканер он включил, когда стемнело окончательно. Прошёлся по забитым в память каналам: полиция, пожарные, скорая, шериф, Нацгвардия. Почти всюду стояло голое шипение. На пожарной частоте жил один голос, и Дэн слушал его двадцать минут, не шевелясь. Голос принадлежал диспетчеру, мужчине лет пятидесяти на слух, и тот передавал в пустоту, как человек по привычке приходит на службу в сгоревшее здание:

— Девятая бригада, вызов на Колфакс, горит жилое… Девятая бригада, приём. Двенадцатая бригада… — пауза, шорох, кашель в микрофон, сухой, рвущий. — Любая бригада. Приём. У меня тридцать один невыданный вызов, ребята. Тридцать один. Кто-нибудь. Приём.

Под конец диспетчер произнёс что-то себе под нос, уже не для эфира, и канал угас. Дэн сидел в темноте, сжимая сканер, и впервые за эти дни спросил себя не «что случилось», а «сколько их там осталось». Ответ ему не понравился.

В палатке он не спал. Перебирал объяснения, и каждое рассыпалось. Лесной пожар не объяснял пустого неба. Диверсия оставляет после себя сирены, вертолёты, вспышки на горизонте, а над равниной висела тишина без единой трещины. За восемь дней в горах он не слышал ни одного самолёта — и тогда это было просто хорошей приметой тихой осени.

А потом он вспомнил. Перед самым уходом, в пятницу, он заезжал в город за пропаном, и приёмник в пикапе болтал о странной лихорадке где-то на восточном побережье — «вспышка», «наблюдение», «причин для беспокойства нет». Дикторы пересмеивались. У заправки девушка-кассир кашляла в кулак и извинялась. Отметил он это краем сознания, как отмечают тучу над соседним округом: не ко мне, не сейчас. Теперь он лежал в темноте и складывал заново: восемь дней назад. Пятница. Кассир с кашлем. Восточное побережье. Западное — вот оно, под горой, догорает.

Под утро он принял решение: спускаюсь к стоянке. «Форд» там, канистры там, и ответ тоже там — по ту сторону поворота шоссе.

Лагерь он свернул быстрее обычного, спрятал под камнями котелок и спальник — взял еды на день, бинокль, сканер, рацию, нож. Сорок пятый калибр остался на бедре, где ему и полагалось. Рюкзак облегчил, и от этой лёгкости стало не по себе: по его собственным правилам, выложенным когда-то на форуме выживальщиков, вниз к дорогам без спальника не ходят. Он сам те правила писал. Впервые он пошёл против них.

Тропа к стоянке тянулась через редкий сосняк, потом вниз вдоль ручья. До асфальта оставалось полмили, когда он уловил не звук — отсутствие звука: там, где за поворотом круглые сутки гудела четырёхполосная лента, стояла тишина. Дэн слился с сосной на склоне над дорогой и поднял бинокль.

Шоссе было забито машинами. В обе стороны, как пришлось: седаны на обочине и поперёк полос, два трейлера, рейсовый автобус с распахнутой дверью. Дальше, за поворотом, просматривался блокпост Нацгвардии: бронированный «хамви» поперёк дороги, мешки с песком, палатка медпункта с красным крестом. Фигуры у мешков лежали, а не сидели, — он долго водил окулярами, надеясь на ошибку, но ошибки не было: двое в форме у колеса, водитель над рулём, у палатки ещё трое, на носилках и прямо на асфальте. Ветер донёс сладковатый больничный дух, и Дэн опустил бинокль. Ветер шёл от дороги; он отобрал сосну повыше, на чистой стороне склона, и пересел к ней.

Час он просидел за сосной. За этот час по шоссе не проехала ни одна машина, ни одна фигура не поднялась с земли, не прозвучало ни единого окрика. Ворона опустилась на зеркало автобуса, посидела, улетела. Один раз ему почудилось движение в палатке медпункта — он ловил его окулярами до рези в глазах, пока не разглядел: ветер трогает полог. Он уже разлепил губы, чтобы крикнуть — старая солдатская глупость, зов в пустоту, — и вовремя прикусил язык. Голос разносится далеко, а откликаться на него здесь было некому.

«Форд» стоял на стоянке в двухстах ярдах ниже, нетронутый, под тентом, и рядом с ним валялся чужой пикап с открытыми дверцами и раскиданным по гравию багажом. Дэн подошёл к своему неслышно, со стороны ручья, обошёл, проверил колёса, замки, капот — всё как он оставил. Ключ лежал под передним крылом, в магнитной коробочке, где лежал всегда. Мотор завёлся с полпинка, вежливо загудел на холостых. Дэн дал ему минуту, слушая, и в этой минуте взвесил всё: бензина — полный бак и двадцать галлонов в канистрах, дорога вверх по лесному кварталу знакома до последней колдобины, в кузове — тент, топор, цепи. Выехал он со стоянки медленно, без фар, и повёл машину в гору — не к дому, дом лежал внизу, в стороне дыма, а наверх, к гряде, насколько хватит колёс.

Там, где лесная дорога обрывалась промоиной, он поставил пикап под елями, закинул маскировочной сеткой, сгрузил канистры и остаток пути поднялся пешком, с топором за спиной и пустым рюкзаком, который к вечеру наполнился из тайника под камнями у гряды — спальником, котелком и всем, что он прятал там утром.

Счёт дням он вёл зарубками на рукояти топорика — старая привычка. Первая зарубка — утро после спуска. Вторая. Третья. Он не кашлял. Горло не першило, виски не ломило, и он поймал себя на том, что прислушивается к собственному дыханию, как к работе чужого мотора: не застучит ли.

Еды хватало на пять дней, если не жировать: сублиматы, консервы, рис. Воду из озера и ручья он кипятил — чистую тоже, по привычке, вбитой когда-то по ту сторону океана: в чужой стране сырого не пьют. Теперь чужой страной было всё. Форель в озере имелась — он видел у берега радужную, ленивую в холодной воде. Хребет он знал: за седловиной, в получасе ходу, притаилась старая сторожка лесников, брошенная лет двадцать назад, но крепкая, с железной печкой. В сторожке можно было перезимовать — если до зимы доживёт вопрос, который уже нельзя было не задать.

Вопрос звучал просто: что случилось. И ответить на него мог только эфир.

В сторожку он перебрался в тот же день, растопил печь, перекинул антенну через сук у окна и сел слушать — методично, как когда-то учили: блокнот раскрыт, карандаш заточен. В журнале появились первые строки: частота, время, кто говорит, жив ли.

Полицейская сеть угасала на глазах. Первые двое суток диспетчеры ещё вели смены: «Седьмой участок не выходит», «На Мэдисон перестрелка, все посты свободны», «У меня патрульный не отвечает с шести утра». К вечеру вторых суток остался единственный дежурный канал, и женский голос на нём говорил уже не кодами, а простыми словами, срываясь: «Любой наряд. Скажите, что вы меня слышите». Ей не ответили. Утром третьих суток канал молчал.

Между полицейскими частотами и госпитальными маячила сеть скорой помощи, и там Дэн задерживался дольше всего: там ещё звучали живые разговоры — усталые, будничные,

страшные именно этой будничностью. Фельдшер докладывал диспетчеру, что кислород на исходе, а смены нет, потому что вся смена лежит. Диспетчер спрашивал адрес, фельдшер называл, и оба замолкали: к этому адресу уже никто не поедет. Однажды кто-то забыл отпустить тангенту в машине, и канал два часа передавал кашель — сперва частый, потом редкий, потом никакой. Дэн дослушал до конца. Решил он, что будет дослушивать всё до конца: это было единственное, чем он мог почтить людей, которых не знал.

Госпитальная сеть держалась дольше прочих. Там говорили ровно и коротко, как говорят люди, привыкшие к дурным известиям, — и от этой ровности делалось хуже всего. Дэн записывал, стараясь не проронить цифры: инкубация до шести суток; кашель утром — к ночи человека нет; геморрагическая сыпь; передаётся воздушно. Одну фразу, произнесённую врачом с надломом, он переписал дважды и подчеркнул: «Носители — все. Симптомы не у всех, но заражён всякий, кто был в городе. Прекратите эвакуацию, вы разносите её. Прекратите эвакуацию».

Нацгвардейская частота ожила на четвёртую ночь, ненадолго. Позывные, доклад по уставу — и устав этот рассыпался прямо в эфире: «…штаб не отвечает восемь часов, треть личного состава в лазарете, объявляю отход на объект «Гранит», повторяю, отход на…» В канал влез чужой голос, молодой, истеричный: «Ребята, там никого, мы оттуда, там все…» Оба тона слились в помехах и пропали. Больше военных не было.

В конце концов осталась одна петля. Аварийная система вещания, запись, женский голос, вышколенный и ровный: «Говорит Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям. Оставайтесь в жилищах. Не допускайте контакта с лицами, имеющими признаки заболевания. Службы работают. Помощь в пути». Пауза — и снова с начала. Дэн слушал запись до последнего слова и всякий раз ждал, что в конце что-нибудь переменится — назовут сроки, адреса, что угодно живое. Запись не менялась. На пятые сутки вместо голоса в петле осталась музыка — старая пластинка, вальс, — и вальс этот кружил всю ночь, а к утру сменился шипением.

Короткие волны он берёг на ночь, когда ионосфера поднимает сигнал. Там ещё жили любители. Радиолюбитель из Монтаны хрипло перечислял, кто из знакомых перестал выходить на связь, — по именам, по позывным; список был длинный, и читал он его медленно, как читают поминальный список. Женщина из Орегона вышла в эфир один-единственный раз: «Есть кто-нибудь здоровый? У меня кашель с утра. Если есть здоровый — не приезжайте. Слышите? Не приезжайте». Кто-то в Техасе читал Писание, спотыкаясь на словах. За стеной помех мелькало зарубежное: служба новостей, которую он когда-то ставил фоном в гараже, успела проговорить про закрытые порты и распавшиеся правительства, про то, что ни одна страна не сумела перекрыть границы вовремя, — и оборвалась посреди фразы, и не вернулась. Морские частоты молчали: он проверил аварийный морской канал, тот самый, где по закону всегда кто-то дежурит, и впервые в жизни услышал там одну атмосферику.

На шестые сутки он провёл ручкой настройки по всем диапазонам, снизу доверху и обратно, и не нашёл ни одного человеческого голоса. Только три несущие, мёртвое посвистывание автоматики где-то далеко, да сухой треск атмосферных разрядов. Приёмник он держал на коленях и слушал этот треск, и ему пришло в голову, что техника ещё жива: где-то крутятся генераторы, которым нечего питать, вещают станции, которым некого будить. Железо умрёт позже.

Выключил он приёмник и написал в журнале: «19 сентября. Эфир пуст. Если везде то же — я один».

Потом долго смотрел на строчку. В слове «один» он чуть было не вывел вторую «о» — перечеркнул, написал аккуратно, и от этого автоматического исправления стало так тошно, что он отложил карандаш. Кому аккуратно. Кто прочитает.

Вот тут его и накрыло — не страх и не горе, а то, что он до сих пор не решался развернуть. Оплакивать было некого. Весь мир умер, а у него внутри шевельнулось что-то вроде

отчётливой ледяной пустоты, и он сидел с этой пустотой на бревне и честно её разглядывал. Мать умерла раньше. Жёны давно стали чужими. Отделение — он перепробовал всё: звонил, ездил, стоял у могил; восемь из восьми. Однажды он уже был последним из отделения, и тогда ему сказали: выжил — стало быть, живи за всех. За всех он прожил двадцать лет, и выходило это плохо. Теперь он оказался последним из вида, а за всех не прожить — не хватит жизни.

Он не плакал. Он сидел, пока не стемнело, потом лёг в спальник не раздеваясь и впервые за эти дни уснул — без снов, провально, как гаснет перегруженная машина.

Утром седьмых суток — седьмая зарубка, кашля нет, — Дэн вытащил из рюкзака рацию, вставил полный комплект батарей и долго смотрел на неё. Наконец он включил её, выставил аварийную любительскую частоту, известную всякому, кто хоть раз держал в руках ключ, нажал тангенту и произнёс:

— Эфир, приём. Здесь «Виски-ноль-дельта-чарли-новембер». Я здоров. Колорадо, Фронт-Рэндж, сторожка над озером. Если кто-то меня слышит — ответьте. Кто угодно.

Тишина была ровной и полной. Выждал, отсчитал тридцать секунд, повторил. Ещё раз, медленно, по буквам, как говорят с теми, кто плохо слышит: «Виски-ноль-дельта-чарли-новембер». Отпустил тангенту. В наушнике шипела атмосферика, и больше ничего.

Он не разочаровался — разочаровываются те, кто ждал иного. Записал он в журнал время выхода, аккуратно, и пометил: повторять ежедневно, восемнадцать ноль-ноль. Затем развернул карту, обвёл карандашом квадрат вокруг сторожки и принялся прикидывать зиму. Дрова — мёртвая сосна по северному склону, её хватит до марта, если пилить по воскресеньям. Рыба — озеро не промерзает до дна, он это знал. Оленьи тропы по южному склону, солонец у излучины, снег в ноябре по колено, к декабрю по пояс. Пикап под елями — резерв на тот случай, если придётся уходить далеко и быстро. Батарей хватит до весны, если слушать дважды в день и не гнать настройку зря. Писал он столбиком, и рука не дрожала, и это его самого удивило: план успокаивал лучше любых слов. У него не было никого, и задача осталась одна — он вписал и её, в конец страницы, крупно: ВЫЖИТЬ. Не за кого-то. Просто выжить, потому что других задач не осталось.

На восьмые сутки он поймал себя на том, что разговаривает вслух. Он говорил печке: «Ну-ка, давай». Говорил дровам: «Пошли». Поймал — и не стал прекращать, потому что тишина, в которой нет собственного голоса, делается другой: она начинает слушать.

Тем вечером он дописал в журнале:

«Если кто-то жив и умеет слушать эфир — я на Фронт-Рэндже, в старой сторожке лесников над озером. Костёр каждый вечер. Слушаю каждый день в восемнадцать ноль-ноль, все диапазоны. Я здоров. Меня зовут Дэн Карсон, сержант морской пехоты в отставке».

Вышел он наружу, подбросил в костёр и стоял, пока дым тянулся вверх, в холодное звёздное небо, — единственный столб дыма на весь хребет, на всю равнину, на всю страну.

И никто не отвечал.

# Глава вторая

## ДОМ

Дорогу вниз он выбрал ещё вечером, при свече, а наутро сверил её по склону: сорок второй лесной квартал, грейдер вдоль ручья, два мёртвых распадка — и только потом асфальт. Шоссе исключалось сразу. По шоссе ездят те, кому некуда деваться; ему деваться было куда. Три года он готовил подвал, и теперь подвал ждал в трёх милях от городской черты. Это уже не нравилось ему заранее. Но сначала нужно было спуститься и посчитать.

Утро он прожил по расписанию, как проживал каждое утро: поднялся до света, растопил печь, поставил котелок. Вода из ручья сегодня кипятилась дольше положенного — он смотрел на неё и не решался признаться себе, что стал смотреть на воду по-другому. Десятую зарубку он поставил на рукояти топорика, посчитал все, от первой, и вышло одиннадцать дней с того дня, как он увидел дым. В журнале, под вчерашним, он написал: «Ухожу вниз. Дом, инвентарь, топливо. Коутс — в последнюю очередь». Антенну со сука он снял и смотал, трансивер убрал в рюкзак: вечерний сеанс он проведёт, где бы его ни застало, расписание есть расписание.

К пикапу он вышел затемно. Скинул маскировочную сеть, свернул аккуратно — сеть ещё послужит, — и достал из-за сиденья плоский армейский ящик, который возил одиннадцать лет и ни разу не вскрывал. Купил его в четырнадцатом году, когда по телевизору неделями показывали лихорадку Эбола и людей в белых костюмах; тогда кассирша в армейском магазине улыбалась, и он улыбался в ответ. Внутри, упакованное и промаркированное его рукой, лежало: четыре полумаски-респиратора, коробка фильтров к ним, нитриловые перчатки, два белых комбинезона, садовый распылитель и банка хлорки в гранулах. Сверил он всё со списком, приклеенным к крышке изнутри, и положил на сиденье рядом с собой респиратор и перчатки. Воду взял свою, кипячёную, в стальной фляге. Сорок пятый калибр — на бедре, винтовка — вдоль спинки сиденья, прикладом вниз.

Спуск занял час с лишним. Лесная дорога текла под колёсами привычно, и от этой привычности делалось хуже: тот же гравий, те же выворотни, тот же длинный траверс над распадком, а мир внизу закончился две недели назад. Дыма над равниной почти не осталось — город догорал, и столбы, которые он видел с гряды, сменились низкой грязной пеленой, ползущей вдоль земли. Пахло даже здесь, наверху: не гарью — тем, другим, сладковатым. Дэн ехал с поднятыми стёклами и следил за ветром по верхушкам елей.

Первую машину он увидел за милю до грейдера. Минивэн лежал в кювете на крыше, колёсами вверх, и вокруг него желтела вытоптанная осока. Дэн притормозил на своей стороне, вышел не сразу: сначала посидел минуту, глядя по сторонам, потом надел респиратор, натянул перчатки и только тогда перешёл дорогу.

В машине была семья. Отец — за рулём, мать — рядом, двое детей в заднем ряду, пристёгнутые. Стёкла подняты, кондиционер, видимо, гнал воздух до последнего: люди ехали спасаться и везли лихорадку с собой, как багаж. К стеклу над детским креслом изнутри был прилеплен рисунок — солнце, дом, четыре фигурки с большими ладонями, — и Дэн долго смотрел на него, потому что больше смотреть было не на что. Руки его ничего не хотели делать. Постоял, вернулся к пикапу, достал карту и поставил на обочине крестик и цифру: четыре. Крестик означал: объезд, не подходить, ветер. Он ещё не знал, что ставит первую отметку в карте, которая через год будет изрешечена ими, как лист мишени.

У грейдера начинались первые дома. Раньше он проезжал здесь сто раз, не глядя; теперь вёл машину медленно, второй передачей, и читал улицу, как читают след. Почтовый ящик с поднятым флажком. Садовый шланг, брошенный поперёк дорожки, — из него не текло. Гараж с распахнутыми воротами, и внутри, на верстаке, разобранный мотор косилки, по которому уже легла пыль. У самого выезда на грейдер стояла заправка — четыре колонки, магазинчик,

надпись на окне, которую он разглядел только подъехав ближе: «ЗАКРЫТО. БОЛЬНЫЦА. ВСЕ». Подпись была свежая, маркером, и последнее слово стояло вместо любой другой вести, которую человек хотел оставить. Дэн не стал вылезать. Посмотрел он на колонки и подумал то, что отныне будет думать всякий раз: под землёй тут стоят три цистерны, тысяч по десять галлонов каждая, и у них остался один живой покупатель на весь штат. Бензин в подземных ёмкостях держится месяцы, он это знал и вписал заправку в карту, как вписывают источник воды. Потом поставил свою отметку и поехал дальше.

У церкви на углу стоянка была полная: люди пришли сюда в будний день, среди недели, и Дэн не стал смотреть, чем это кончилось, — отметил краем глаза сгрудившиеся у дверей силуэты и прибавил газу. Ловил он себя на том, что прислушивается к одному звуку, которого не было: не лаяли собаки. В этой части округа лаяли всегда — на машину, на велосипедиста, на ветку. Теперь улица проплывала мимо стёкол в полной собачьей тишине, и где-то внутри, холодно и отчётливо, он понял: собаки ещё будут. Позже. Другие.

Птицы вели себя как ни в чём не бывало. Сойка кричала с клена, воробьи дрались под крышей кормовой лавки, и нормальность этого была хуже любого крика: зверям и птицам лихорадка не досталась, мир продолжался без людей, и ему было всё равно.

Дом его стоял в конце улицы, где она обрывалась в поле. Один этаж, металлическая крыша — он перекрывал её сам, восемь лет назад, думая о лесных пожарах, — дровяной сарай, колодец с электронасосом и ручной качалкой, которую он поставил второй строкой, на случай беды. Беда пришла, и насос стоял мёртвый, а качалка ждала. Дэн объехал дом, заглушил мотор за амбаром, с подветренной стороны, и обошёл участок пешком, с винтовкой наперевес: двери целы, окна целы, на пыльной дорожке его собственные следы двухнедельной давности — и больше ничьих. К дому, сколько он мог судить, никто не подходил. Или подошедшие не дошли.

Внутри пахло закрытым жильём — пылью, деревом, застоявшейся водой в сифоне. Не смертью. Выдохнул он и только тогда понял, что держал дыхание с порога. На кухне всё лежало, как он оставил: чашка ополоснута и вверх дном, приёмник на подоконнике выключен, календарь — сентябрь, обведённая пятница, день отъезда. Дэн постоял посреди собственной кухни, и на него глянула отсюда чужая, докатастрофная жизнь: магниты на холодильнике, счёт за пропан, ключи на гвоздике. Задерживаться он не стал. Времени на это не было, а было оно или не было — вопрос, который он пока не задавал.

В подвал он спускался с фонарём, хотя помнил каждую ступень.

Стеллажи стояли рядами, как он их оставил. Шёл он вдоль них с фонарём и считал вслух, потому что счёт вслух надёжнее: не собьёшься. Консервы собственной закатки — мясо, фасоль с копчёностью, тушёнка из оленины двадцать второго года, — четыре полки, сто двенадцать банок. Магазинные — кукуруза, горошек, персики, спам, который он терпеть не мог и покупал исправно, — шесть полок. Рис и бобы в бакетах под гамма-крышками, восемнадцать бакетов. Мука в майларе, сахар, соль — соль он считал отдельно и пересчитал дважды: шестьдесят фунтов каменной и двадцать йодированной; на одного человека и на заготовку мяса это годы, и всё же он пометил: брать всю. Вода — две бочки по пятьдесят пять галлонов, закрытые в мае, плюс двенадцать ящиков бутилированной. Керосин для ламп. Пропан — четыре баллона во дворе, пятый на плите. Аптечка занимала два ящика: перевязка, шовный набор, и отдельно, в жестянке из-под печенья, антибиотики с ветеринарной выставки — аквариумный амоксициллин, таблетка в таблетку с человеческим, он сверял по каталогу и знал, что делает. Боеприпасы: триста патронов к тридцать-ноль-шесть, двести к сорок пятому, кирпич двадцать второго — тысяча штук, для мелкой добычи и для экономии крупного. Инструмент на стене, по контурам. Книги на двух полках — справочник по полевой медицине, армейские наставления, атлас дорог всех пятидесяти штатов, карманная химия топлива, которую он так и не открыл.

Три года заготовок. Вторая жена называла этот подвал «его бункером» — и в слове этом всегда слышались кавычки; она ушла в девятнадцатом, и подвал был среди причин, хотя и

не главной. Главная была старше: он умел хранить, считать, готовить — и не умел сказать человеку, зачем тот ему. Подвал остался. Жена ушла. Стоял он посреди подвала и ждал от себя чего-нибудь — облегчения, торжества, хоть чего-то, — и не дождался: внутри работал только счёт. Одному человеку этого хватит надолго. Это было единственное, что что-то значило, и единственное, что не значило ничего.

Поднялся он наверх, налил из фляги кипячёной воды и сел за кухонный стол с журналом. За окном, за полем, в трёх милях начиналась городская черта. Он смотрел в ту сторону и раскладывал по полочкам, как раскладывал всё.

Ветер здесь стоит вечером с гор — чистый. По утрам, когда равнина прогреется, потянет снизу, от города. Знал он уже, чем пахнет там; после блокпоста этот запах стоял у него в памяти отчётливее любой карты. Зима закроет город холодом, и холод будет работать на него. Потом придёт апрель, оттепель, и город вспомнит о себе — за три мили ветер донесёт всё, что можно донести. Следом крысы, которые пойдут от города по воде и по запаху, и стаи собак, которые уже перестают бояться. Дом деревянный. Участок открытый. Колодец — в пойме ручья, текущего с той стороны.

Дом в трёх милях от городской черты — это не база. Это крыло морга, в котором пока убрано.

Записал он вывод в журнал и под ним, отдельной строкой: «База — не здесь». Место под базу у него было присмотрено давно, ещё с тех пор, как он ездил по округу с картой и карандашом и отмечал всё, что может пригодиться человеку после конца света: в горном посёлке за сорок миль, под старой школой, числилось убежище гражданской обороны, бетон шестидесятых годов. Числилось — не значит существовало; сначала разведка. Но разведка — после. Сначала — вывезти отсюда всё, что не потерпит города рядом.

Вышел он на крыльцо и посмотрел на солнце. До вечернего сеанса — четыре часа. За четыре часа с домом можно было покончить, если не считать последнего дела, которое он откладывал с самого утра.

Три мили на север жил Эрл Коутс, и раз в неделю, по средам, Эрл проверял его почтовый ящик.

Свой ящик он проверил по дороге, притормозив у поворота. Флажок поднят — так он сам оставил перед походом: внутри лежало письмо в ветеранский департамент, которое он никак не решался бросить в ящик в городе и в конце концов бросил в свой, от греха. В ящике лежали рекламные листки, каталог семян и счёт. Две среды — никто не приезжал. Эрл не приехал в среду первую, и в среду вторую тоже.

Дэн стоял у ящика и считал. Лихорадка взяла город двенадцать дней назад, если верить эфиру и дыму. Эрл отсутствовал дольше. Цифры не ложились друг на друга, и он поехал к Эрлу — с респиратором на шее, с перчатками в кармане, против всякого здравого смысла, который говорил: живых там нет, а мёртвые подождут. Поехал он, потому что Эрл проверял его ящик семь лет, и это было единственное, что ещё держало их обоих в одном мире.

Дом Коутсов — Эрл остался в нём один после жены, лет двадцать как один, — стоял в сосняке, в конце грунтовки, и Дэн узнал всё ещё с поворота: дымок, которого не было; пикап Эрла у крыльца, дверца открыта; и на крыльце, в кресле-качалке, сам Эрл. Он сидел лицом к дороге, в фланелевой рубахе, в расшнурованных ботинках — он всю жизнь расшнуровывал их, садясь, и никогда не шнуровал обратно, — и с кружкой в остывшей руке. Кружка не упала. Кресло качнулось раз, на ветру, и остановилось.

Дэн долго стоял у машины, держась на чистой стороне ветра, и только потом пошёл вперёд — остановился в десяти шагах, потом в пяти. Подходить ближе не требовалось: лихорадка читается и так, сыпь видна на кистях. Эрл умер здесь, на крыльце, глядя на дорогу, по которой никто не ехал, — дней десять назад, может, больше.

В дом Дэн вошёл в респираторе и перчатках и ничего в нём не трогал руками. Дом был аккуратный, стариковский, пах воском и табаком. На кухонном столе — банки с закаткой, ровный квадрат, Эрл готовился к зиме, как готовился каждый год. У двери прислонён его двадцать второй калибр — выходил не воевать, выходил сидеть. За окном кухни Дэн разглядел огород — убранный, чистый, с подвязанной к колышкам ботвой, — и поленницу под навесом, в два ряда, до крыши: Эрл стоял к зиме лучше, чем иной гарнизон. Всё это досталось теперь ветру и мышам, и Дэн, глядя на поленницу, поймал себя на чужой мысли, не приказной: надо будет приехать за дровами, пока их не растащил снег. Старику дрова больше не нужны, а мёртвым нельзя оставлять добро — так говорила его мать, и он впервые за шесть лет вспомнил её голос не как боль, а как распоряжение. На стене висел календарь с отметками, и Дэн простоял перед ним дольше всего. Эрл помечал всё: «помпа», «зубной», «церковный сарай» — и тут же, второго сентября, одно слово: «город». Дальше календарь был пуст.

Второе сентября. Дэн стоял и складывал в уме, старательно, как клал патроны в обойму. Второго Эрл съездил в город — за чем-нибудь пустяковым, за гвоздями, за табаком. Тремя днями позже Дэн ушёл в горы. Инкубация — до шести суток. Эрл вернулся к себе в сосняк, ни с кем не виделся, не ездил никуда, жил, как жил двадцать лет, один, — и умер у себя на крыльце, с кружкой, глядя на дорогу. Одиночество не спасло его. Оно просто сделало так, что некому было услышать кашель.

Вышел он на крыльцо, постоял, потом достал из сарая брезент, старый, рыжий, и накрыл Эрла, действуя концами и краями, не касаясь. Брезент он придавил камнями от клумбы. Больше он ничего не мог сделать сейчас, а что будет «потом» — он не знал.

Колодец у Эрла был свой, артезианский, и вода в нём стояла чистая и холодная, и Дэн, вернувшись к машине, долго смотрел на свою флягу. Кипячёная. Кипятил он воду всю жизнь, по привычке, вбитой ещё по ту сторону океана, и никогда не думал, что привычка эта когда-нибудь встанет между ним и смертью — если вставала. Третья версия нравилась ему меньше всех, потому что её нельзя было проверить и нельзя было вычеркнуть.

Прежде чем тронуться, он открыл журнал и записал четыре строки. Рука его не дрожала, и это была ложь, потому что дрожала.

«Эрл Коутс. Контактов не было. Всё равно.

Город — 2 сентября. Инкубация — до 6 суток. Одиночество не защита.

Версии: 1) он привёз её из города сам, до всех, — проверить нельзя; 2) воздух — подъезд, вентиляция, общий чердак: для города сходится, для этого дома нет; 3) вода. Если вода — спасал только тот, кто кипятил.

Проверить нельзя ни одну. Действовать по худшей: кипятить всё. Всегда.»

И ниже, отдельно, он вывел и подчеркнул дважды: вода — только кипячёная. Даже своя. Даже из бочек, закрытых в мае. Особенно чужая.

К дому он вернулся, когда солнце ушло за хребет и свет стал рыхлым. Грузил по списку, составленному ещё до полудня, и список был выстроен не по весу и не по объёму, а по единственному принципу: сначала то, чего нет ни в одном магазине мёртвого города, — потом остальное. Город полон консервов и инструмента, город подождёт. Не подождут: семена в стеклянной банке, отобранные по урожайности три года подряд; справочники с полки; шовный набор и жестянка с антибиотиками; соль; инструмент, который он знал по рукояткам; боеприпасы — все триста, все двести, весь кирпич; топографические карты и компас. Еду он брал в последнюю очередь и немного: консервы на месяц, один бакет риса. Бочки с водой остались стоять — двести галлонов в кузов не везут, к ним нужно приехать с прицепом, и прицеп он вписал в план на завтра. Работал он молча и в том порядке, который отработан десятками вылазок на охоту: тяжёлое вниз и к кабине, хрупкое сверху, каждый ярус стянут, каждая стяжка проверена рывком. Бензин он считал отдельно, на клочке от каталога семян: бак полон, канистры полные, двадцать галлонов, плюс то, что лежит под землёй у закрытой заправки и у тысячи

таких же по всему округу. Топлива в мёртвой стране было много — до той поры, пока оно не начнёт портиться; до весны хватит, а про весну он думать отказывался, потому что на весну у него ещё не было плана, а был один человек, один пикап и сорок миль до места, которое ещё нужно было посмотреть.

Поднялся он на крыльцо в последний раз, чтобы закрыть дом. На кухне остался календарь с обведённой пятницей; Дэн снял его со стены, положил в ящик со справочниками — пусть едет, бумага лёгкая, — и только тут заметил, что делает: он увозит не вещи, он увозит след. Снаружи дом остался цел, и с дороги в нём ничего не убыло.

Ровно в восемнадцать ноль-ноль он оторвался, сел в кабину и включил рацию. Сперва он прошёл по диапазонам медленно, как делал это каждый вечер: аварийная любительская, морской канал, петля FEMA — в петле больше не было даже вальса, одно ровное дыхание эфира. Потом он вызвал по форме: позывной, частота, «я здоров, я на Фронт-Рэндже», выдержал тридцать секунд, повторил. День считался без расписания, и всё же в шесть вечера он был у микрофона — как человек, который в мёртвом доме застилает постель. Записал он в журнал: «18:00. Передавал по расписанию. Эфир пуст». Эфир был пуст ровно, без трещин, и он уже начинал различать сорта этой пустоты, как различают сорта тишины в лесу.

После сеанса он стоял у открытого кузова и смотрел на дом. Вечерний ветер шёл с гор, чистый, холодный, пах хвоей и первым снегом где-то на вершинах. Дом был цел. Под ним лежало три года его жизни, разложенные по полкам, и завтра он приедет с прицепом и начнёт разбирать собственный дом на склад, как разбирают на запчасти исправную машину. Думал он об этом без чувства и насторожился именно на этом: чувство должно было быть. Прожил он здесь одиннадцать лет. Но дом оказался тем, чем оказался, — крылом морга, удобным, обжитым, со справочниками, — и Дэн вписал его в план, как вписывают отработанный узел: снять, что снимается, остальное законсервировать.

Собаку он увидел, уже тронувшись.

Выкатил он со двора, выровнялся на грунтовку и в последний раз глянул в боковое зеркало — по привычке, как глядят на дверь, которую закрыл за собой. На крыльце было движение. Ударил он по тормозам прежде, чем успел подумать, сел тихо, взял винтовку и вышел из машины через правую дверь, держа кабину между собой и домом.

Крыльцо было пустым, если смотреть из машины. Обошёл он дом против часовой, по-своему, заглядывая под скулы окон, проверяя углы, и нашёл его с тыльной стороны крыльца: пёс стоял на верхней ступени, там, откуда его не было видно с дороги, и смотрел на Дэна в упор.

Пёс был огромный — девяносто фунтов, а может, и сто, — лохматый, облезлый, с запёкшейся грязью на боках. Когда-то домашний: на исхудавшей шее болтался ошейник, красный, с пустым брелоком, где раньше звенел медальон. В нём угадывалось что-то от маламута, что-то от овчарки, и ещё что-то, давшее ему тяжёлый лоб и короткие уши. Он не рычал. Не вилял хвостом, не жалобился, не подходил. Стоял и смотрел, чуть наклонив голову, и во взгляде этом не было ни просьбы, ни угрозы — только оценка, холодная и ровная, как у человека, который сам решает, подойти или нет.

Дэн опустил винтовку. Крикнуть, свистнуть, сказать «пошёл» — всё это он отбросил сразу: с этим зверем такие вещи больше не работали, это читалось по нему, как читается по земле, что здесь был паводок. Пёс стоял на крыльце дома, который был не его, в трёх милях от города, который съел его людей, и ждал — не от Дэна; просто ждал, потому что ждать было единственным, что у него осталось из прежней работы.

— Ну, — сказал Дэн.

Пёс повёл ухом. Больше ничего.

Дэн сделал полшага в сторону — пёс проводил его глазами, не поворачивая головы, и не сдвинулся. Он стоял на верхней ступени так, чтобы держать в виду и дверь, и дорогу: постовая стойка, выученная когда-то, — только поста за его спиной больше не было. Рёбра у него ходили

под шкурой, когда он дышал, и дышал он коротко, по-голодному. Дэн подождал, не решится ли зверь сам — спуститься, уйти, зарычать наконец, — но пёс не собирался ничего решать. Он уже всё решил: стоять.

Дэн вернулся к кузову и под взглядом пса стал проверять стяжки — те самые, которые затянул час назад. Рукам нужно было дело. В кузове лежал его запас: сублиматы, консервы, рис — еда человека, рассчитанная на одного. Достал он банку тушёнки двадцать второго года, собственной закатки, постоял с ней — и поставил обратно. Банка кормит человека день. Псу она ничего не решит, а привычку заведёт: он придёт завтра, послезавтра, будет ждать у пустого дома. Не заводи того, кого не сможешь прокормить. Не приручай того, кто умрёт у тебя на руках. Не привязывайся: привязка — это расход. Захлопнул он борт, и лёгкость, с которой это у него вышло, ему самому не понравилась.

Сел он в кабину и дал газу плавно, без лишнего шума. В зеркале пёс оставался на крыльце — не садясь, не ложась, глядя вслед, и в этом взгляде уже не было ничего домашнего. Дорога повернула, зеркало опустело, и Дэн смотрел в него ещё секунду после того, как смотреть стало нечего.

# Глава третья

**ГОРОД**

Вчерашний день ушёл на бочки: два рейса с прицепом, четыреста с лишним галлонов воды, поднятые наверх и укутанные от мороза, как дети. Сегодняшний был записан в журнале заранее, одним словом: «Город».

Готовился он с вечера и с утра перепроверил всё по списку, потому что список не нервничает. Вечером, после сеанса, он сидел над картой города до темноты и выбирал точку первого удара — не ближнюю, не жирную, а правильную: с западным входом, с наветра, с одной дорогой отхода. Утром он поднялся до света, растопил печь, вскипятил воду — смотрел на неё ровно столько, сколько решила рука, — позавтракал стоя и перепроверил всё по списку. Белый комбинезон — поверх одежды, манжеты на скотч, ботинки те самые, дворовые, которые живут на крыльце и не переступают порога. Респиратор со свежим фильтром; фильтр он сперва вынул из коробки, подписал маркером — «№1, 26 сентября» — и только потом ввернул: фильтры отныне расходный материал, и учёт им будет, как патронам. Перчатки двойные: нитрил поверх, рабочие снизу. Садовый распылитель с хлорным раствором — столовая ложка гранул на литр, он помнил концентрацию по инструкции, которую когда-то вклеил в крышку ящика. На сиденье — фляга с кипячёной водой: в городе он не пил и не ел, это даже не записывалось, это дышалось. В кузов — пустые мешки, нож, ломик, верёвки. И брезент, который он с тех пор не выбрасывал: чужой, рыжий, постиранный хлоркой дважды.

Выехал он затемно, чтобы войти в город, пока ветер горный. Прицеп он подцепил ещё с вечера, проверил фонари — работали, что в новом мире было уже необязательно, — и цепи безопасности перекрестил, как учили когда-то: если сцепка сорвётся, прицеп ляжет на крест, а не в кювет. План был написан в журнале и лежал рядом с фильтром: он едет не «в город за всем», он едет по адресу, за списком, на три часа. Разница между этими двумя поездками — та самая, что между грибником и грузчиком; грибниками умирали. До равнины воздух тек вниз, с хребта, чистый и холодный; к полудню равнина прогреется и потянет вверх, городским, и к этому часу он собирался уже ехать домой, встречным, на чистой стороне. Прицеп за спиной пустой и грохотал на ухабах, и этот грохот был единственным звуком на весь мир.

Город он увидел издалека, а учуял раньше.

На последней эстакаде перед чертой — над железнодорожной горловиной, где Денвер раскрывался весь, — он встал, вышел и десять минут смотрел в бинокль, не двигаясь. Смотрел так, как учили когда-то смотреть на улицу перед переходом: не на всё сразу, а секторами, слева направо, от дальнего к ближнему. Дым — два очага, оба далеко на севере, оба ленивые: горело уже не городское, а то, что в городе ещё находило, чем гореть. Движения — ни одного: ни машины на эстакадах, ни фигуры на крышах, ни дымка от костра, которым кто-то греет руки. Город лежал ровно и широко, как лежит карта, — и как карта, он ничего не говорил о том, что у него внутри. Дэн отметил в блокноте два дымных очага с азимутами, сел в кабину и поехал вниз. Бинокль он положил на сиденье открытым: в городе смотрят всегда.

Сначала он решил, что это низкая гарь догорающих кварталов — она стояла над северной стороной третью неделю. Потом ветер качнулся, и Дэн понял, что дышать придётся не гарью. Он остановился на последнем подъёме перед чертой, надел комбинезон, респиратор, перчатки, обработал распылителем дверные ручки — свои собственные, от себя самого, потому что порядок есть порядок, — и поехал вниз, в запах. Респиратор брал многое. Респиратор не брал всего: через фильтр, через резину, через стиснутые зубы проходило то, чем пахнет страна, умершая две недели назад. Он дышал ртом, мелко, и вёл медленно.

Проспект, по которому он вошёл в город, был забит машинами в одну сторону — к выезду на автостраду, к эвакуационному коридору, о котором когда-то объявляли по радио.

Все четыре полосы стояли бампер к бамперу, и встречная сторона была пуста: бежали все, приехал никто. Дэн ехал по пустым встречным полосам второй передачей, и это было почти спокойно, если не смотреть направо. Он смотрел. Смотреть было его работой теперь: считывать, запоминать, отмечать. У перекрёстка стоял полицейский крейсер, распахнутый настежь, рация на полу выплюнула провод. Автобус прижался к бордюру, и за его стёклами ряды голов казались пассажирами, которые задремали по дороге, — казались ровно секунду, ровно до мухи на стекле. Из окна серого седана свешивалась рука с больничным браслетом, и Дэн поймал себя на том, что притормаживает, — закрыть, поднять, убрать, — и поехал дальше, потому что рука была одна, а город был весь. Это он отметил в себе сухо, как отмечал всё: желание было. Масштаб его отменил.

Больничный комплекс он обошёл за полмили, по параллельной улице, и даже оттуда видел: палатки на парковке, армейские грузовики, въезд, забитый встык. Внутри больницы лежало то, что лихорадка делала в первую очередь и чем кончала. На карте против этого квартала он поставил знак, которого в его легенде тоже раньше не бывало, и подписал не глядя, одной рукой, на руле: «не туда». Больница — это не склад лекарств, это эпицентр. Туда он пойдёт, только если без выбора, — и записал это тоже, чтобы потом, когда будет больно или нужно, держаться собственного почерка.

Светофоры стояли тёмные, и он проезжал перекрёстки медленно, по привычке притормаживая, — привычка странная в городе без единой машины, но он знал её цену: порядок держится не на необходимости, а на повторении. У третьего перекрёстка висел дорожный щит с табло, и табло, пустое и чёрное, всё равно говорило ему то, что говорило две недели назад, когда мигало над этим же проспектом: уезжайте. Все уехали. Он въехал.

У супермаркета с красной вывеской он выбрал его не глазами, а стоянкой: полная стоянка при закрытых дверях — люди пришли и не ушли; полупустая при вскрытых — пришли, взяли, ушли. Эта стоянка была полупустой. Двери вскрыты в первые дни, вывеска цела, и главное — на ветру: вход смотрел на запад, к горам. Дэн поставил пикап носом к выезду, прицепом к входу, заглушил и минуту сидел, слушая. Потом вылез, обработал распылителем ручку тележки, выдернул её из гнезда и пошёл к дверям: винтовка в руках, ломик заткнут за ремень рюкзачного пояса.

Правила были простые, и он продиктовал их себе вслух, на пороге, шёпотом за резиной: ничего не трогать голыми руками. Ничего не заносить в кабину. Не наклоняться к тому, что лежит. Не входить туда, откуда один выход, не посмотрев, что за ним.

Внутри было темно — витрины на северной стороне давали серый свет, дальние ряды тонули в нём. Дэн стоял у входа, давая глазам привыкнуть, и слушал. Магазин пах по-разному: у дверей — гарью и пылью, дальше — прокисшими молочными стеллажами, а подо всем, ровным фоном, — тем же, что и город. Где-то капало. Фонарь он включил только убедившись, что в зале никто не движется, и даже тогда повёл лучом не спеша, по полкам, по полу, по кассам. У дальних касс лежал человек, и Дэн не пошёл туда. Сегодня у него была другая работа.

Сперва он обошёл зал весь, пустой тележкой не гремя — оставил её у дверей, — и сделал то, что делал всегда перед работой в чужом месте: прочитал его. Сорок минут, ряд за рядом, луч по нижним полкам, где прячется то, что живо, и по верхним, где лежит то, что осталось. Овощной ряд стоял коричневой жижей в разорванных сетках; он обошёл его стороной. Мясной отдел вонял так, что резина респиратора казалась шуткой, и он отметил про себя: сюда без нужды — ни шага. Хлебный, молочный, пивной — пустые. Крупяной, соляной, консервный — стоящие. В подсобку вели две двери: служебная у мясного ряда и двустворчатая в дальнем углу, за складскими стеллажами, и на двустворчатой не было замка, только штабель пустых поддонов перед ней — кто-то в первые дни отгораживался от очереди, а потом перестал. Это Дэн тоже отметил. В магазине, как в лесу, всё было написано для того, кто умеет читать.

Разграбление читалось, как отчёт. Хлебный ряд вычищен до поддонов. Молочные стеллажи — пустые, и оттуда тянуло хуже всего. Пивная стена выставлена голой, как полка после инвентаризации: уносили ящиками. Вода — вся, до последней бутылки, вместе с тележками, в которых её вывозили: две тележки так и стояли у касс, следами колёс к двери. Дорогое спиртное взяли всё — виски, коньяк, текила; нижняя полка, пластик, дешёвая водка, стояла почти нетронутой: мародёр первых дней брал праздник, а не средство. Крупяной ряд мародёр пропустил почти целиком: пятидесятифунтовые мешки риса стояли штабелем, соль — паллетом, мука, бобы, сахар. Брали то, что едят сегодня. Не брали то, из чего готовят. Люди, опустошившие этот магазин, собирались жить неделю; никто из них не собирался жить год.

Дэн достал список и карандаш и работал три часа, не разгибаясь до конца — в комбинезоне было жарко, фильтр сопротивлялся каждому вдоху, пот стекал за воротник, и он экономил дыхание, как экономил всё. У дальних касс, в боковой проход, он нашёл складскую тележку с платформой — роклу, рабочую лошадь всех магазинов мира, — и работа пошла вдвое быстрее: мешки перестали существовать поштучно и пошли рядами. У одной из касс стояла брошенная тележка, полная под завязку: двенадцать упаковок воды, детское питание, игрушечный самолётик сверху — чья-то паника, составленная в список и оставленная у ленты, когда лента перестала что-то значить. Дэн прошёл мимо неё, как мимо заброшенного костра: всё, что могла сказать эта тележка, она уже сказала. Тележка ходила от ряда к прицепу: восемь мешков риса, двести фунтов соли — сначала каменная, потом йодированная, — мука, сахар, бобы в мешках по десять фунтов, овсянка, масло растительное ящиками, кофе — целый стеллаж, он взял половину и отметил остаток. Спички, свечи, батарейки — батарейный ряд был обглодан, но не до конца: крупные элементы для фонарей остались, он забрал все. В хозяйственном ряду он взял то, чего не берут никогда и что дороже соли: крышки для закатки, все, до последней упаковки, — стеклянных банок в мёртвой стране больше, чем живых людей, а крышка у банки одноразовая. Стоя перед этой полкой, он коротко подумал о том, как меняется цена вещей: две недели назад здесь выбирали телевизоры. Из водочной полки он взял два ящика самой дешёвой водки в пластике и поставил их в кузов отдельно, не в прицеп: жить этому на будущей базе, рядом с аптечкой. «Антисептик, — написал он в журнале позже, против строки „водка, 24 бутылки“. — Спирт кончается. Это гонится». Что до приёма внутрь — протокол протоколом, но рюмка в нём значилась с самого начала, и оба они это знали. Строительный ряд он не трогал сегодня вовсе — инструмент у него был свой, знакомый по рукояткам, — но обошёл его и записал в блокнот: гвозди, саморезы, брус, цепи, лебёдки ручные. Город предстояло не только разобрать. Город предстояло держать под рукой, как склад у дороги, — со списком, что в каком ряду лежит.

Каждый выезд к прицепу он делал одной дорогой, и дорогу эту он держал чистой: обработанная тележка, обработанные ручки дверей, ничего лишнего не касается. Груз он не стягивал — не до того: город стоял тихо, но Дэн не верил тишине бесплатно. У дверей он всякий раз останавливался и слушал парковку, прежде чем выкатить тележку. Всё было тихо. Воробьи копошились в разбитой тележной станции. Один раз по соседней крыше прошла кошка — облезлая, огромная, — посмотрела на него сверху и ушла, не ускоряясь.

Последним по списку стоял подсобный склад: за торговым залом, за двустворчатой дверью, должны были лежать нераспакованные паллеты — то, чего мародёр не видел вовсе. Дэн отметил время, проверил лучом проход и пошёл между стеллажей к двери. Двустворчатая была приоткрыта на ладонь, и прежде чем тронуть её ломиком, он заглянул в щель: луч достал дальнюю стену склада, и Дэн замер. Паллеты в заводской плёнке, целые, нетронутые — соль, сахар, консервы сетевой марки рядами до потолка. Мародёр первых дней в подсобку не ходил: мародёр брал то, что видно. За этой дверью стоял лучший груз дня — месяц базы на одной стене. Он уже тянулся к створке, когда услышал шорох.

Шорох поднялся из темноты справа, снизу — и ружьё встало у плеча раньше, чем он решил его поднять.

Шорох не был шорохом одного зверя. Он был плотный, многослойный, как ворошат опилки, и шёл из темноты под длинным стеллажом у стены. Дэн поднял фонарь. Луч уперся в полумрак под нижней полкой, и полумрак этот шевельнулся весь: крысы стояли там плотно, плечом к плечу, ряд за рядом, сколько хватало луча, — и не разбегались. Они стояли и смотрели на свет. Десятки пар глаз блеснули ровно, без суеты, без писка, и ни одна крыса не сделала того, что крыса делает всегда. Дэн знал крыс: от склада до амбара, крыса — это движение прочь, метка вдоль плинтуса, пустота там, где ты шагнул. Эти стояли. Они смотрели на него, как смотрят на погоду.

Выстрел он отбросил сразу и даже не считал это решением: хлопок тридцать-нольшестого в бетонной коробке склада услышали бы за милю, а объявлять себя — не входило ни в один его план. Патрон в стволе стоил дороже, чем соль за его спиной: соль можно найти завтра в другом месте, тишину — нельзя. Он стоял и держал луч, и крысы держали его, и это было переговорами без слов, на которых каждая сторона считала другую.

Он отступил первым. Не развернулся — попятился, держа луч и дуло на полке, три шага, пять, десять, пока двустворчатая дверь не качнулась перед ним обратно. Обратную дорогу через зал он прошёл тем же порядком — спиной к выходу не поворачиваясь, луч по нижним полкам, слух на пределе, — и всю дорогу ждал, что шорох поплывёт следом, по проходам, по-своему, неторопливо. Шорох не поплыл. Крысы остались у своей стены, у своей двери, и то, что они не пошли за ним, было хуже погони: за добычей гонятся, а того, кого не боятся, просто отпускают. У прицепа он выгрузил из тележки последний мешок — он не оставлял груз, груз был честно вывезен из-под их глаз, — закрыл борт и только тогда заметил, что рука на борте лежит вразнобой с дыханием. Он, который в своё время выходил из города под огнём и шёл ровно, отступил сейчас от полки с крысами, и это далось ему труднее любого отступления, которое он помнил. Не страх — отчёт: что-то в этом городе изменилось за две недели, и изменение это имело зубы. За двустворчатой дверью осталась стоять целая стена соли в заводской плёнке — лучший груз дня, месяц базы, — и он не вернулся за ней. В план на завтра он впишет её с пометкой «вернуться», и оба они, он и пометка, будут знать, что это наврёт.

У пикапа, прежде чем сесть в кабину, он достал карту города и сделал то, ради чего, если честно, и был весь день: свёл на неё добытое. Против красной вывески он вывел карандашом, что магазин ещё держит: риса осталось мешков двадцать, мука и бобы лежат на своих полках, а вода, батарейки и крышки кончились начисто — и отдельно, мелко, пометил подсобку с целыми паллетами. Город на этой карте отныне не умирал — он вёлся в учёте, и это было единственное, чем Дэн мог ему ответить.

На парковке ветер уже переменился. Горный поток иссяк, равнина прогрелась, и воздух пошёл вверх по склону — городским, тёплым, густым. Дэн посмотрел на запад, где дымка над кварталами дрожала и текла к горам, и сказал вслух одно слово: «Домой». Это тоже был пункт протокола, только незаписанный: уйти до того, как погода в городе обернётся против тебя.

Обратно он ехал той же встречной стороной, стёкла подняты, вентилятор выключен — салон он держал герметичным, как держал всё, что должно остаться чистым. Груз сзади поскрипывал на стяжках, и он слушал этот скрип, как слушают мотор: равномерно — значит, лежит; сменится — остановлюсь. Город провожал его одинаково: ни окрика, ни движения. У съезда на автостраду стоял эвакуационный коридор, который страна строила в последнюю свою неделю: шатёр сортировки, ряды биотуалетов, автобусы, загнанные подковой, и у шлагбаума — машины, прижавшиеся так плотно, что водители не смогли открыть двери. Дэн объехал коридор дальним объездом, по обочине торгового ряда, и не стал считать. Считать это он придёт когда-нибудь потом, с картой, в перчатках, если будет зачем. Не будет зачем.

У поворота на свою улицу он сбросил скорость. Крыльцо его дома, видимое издали между соснами, было пусто. Он смотрел на него дольше, чем требовал поворот: вчерашний пёс ушёл — или лежал там, откуда его не видно с дороги. Следов читать он не стал, потому что не остановился; не остановился, потому что нечем было. В кузове стояли рис и соль, рассчитанные на одного, и арифметика эта была простой и честной с обеих сторон. Дэн поехал дальше. В зеркале крыльцо так и осталось пустым — и он снова, как вчера, смотрел в зеркало дольше, чем в нём было что смотреть.

Домой он въехал за час до сеанса. Прицеп он отцепил на открытом месте, в тридцати шагах от сторожки, и там же, на ветру и на солнце, оставил груз стоять двое суток — отстой, как он записал в журнале: «Всё, что из города, молчит двое суток, прежде чем войти». Проверить это было нельзя никак; двое суток он принял потому, что двое суток мог себе позволить, а ошибку — нет. Водку он снял с кузова сразу, отнёс под навес и поставил отдельно от продуктов. Потом снял с себя город — в том порядке, который отныне будет порядком навсегда: сперва распылителем по сапогам и перчаткам, сверху вниз, не пропуская шнуровки; перчатки — наружу в мешок, нитрил отдельно от рабочих; комбинезон — свёрнутым валиком, белым внутрь, туда же; мешок завязан, на отстой, к грузу. Ружьё, ломик, фонарь — протёрты, выставлены на крыльце на ночной ветер. И последнее, на пороге, до того как переступить дверь: бутылка из первого ящика. Он протёр водкой лицо, шею, руки до локтей — медленно, не жалея, как умываются после пожара, — потом ладони ещё раз, и пахнущая спиртом кожа остыла на ветру. Порог он переступил уже чистый. Так будет каждый раз. Это он не записывал даже: вещи, которые делаются каждый раз, не нуждаются в журнале.

В восемнадцать ноль-ноль он сидел у трансивера, умытый, в сухом, и слушал пустоту во всех диапазонах. Вызвал по форме. Подождал тридцать секунд. Повторил. Ответа не было, и в журнале напротив времени он написал уже привычное: «Эфир пуст». А ниже, после короткого раздумья, вывел отчёт о вылазке — сухой, складской, с количеством и весом: рис, соль, мука, масло, кофе, батарейки, водка. Фильтр №1 списан. Город обозримый. Город терпимый до полудня, пока ветер с гор.

Отдельной строкой он занёс два азимута, снятых утром с эстакады: 212 и 247. Дым не лжёт о месте; он лжёт о причине. Лес дал бы столб, квартал — пласт, а эти два тянулись тонко и ровно, как тянутся от печей, которые топят аккуратно. Аккуратно топят люди. Аккуратно догорают и дома, которым уже никто не мешает. Дэн обвёл оба азимута одним кружком и подписал коротко: «Смотреть издали». Ближе этого кружка он пока не собирался подходить ни к чему, что дымит.

Потом он поставил котелок — вода для завтрака, из ручья, — и смотрел, как она закипает, поймав себя на том, что смотрит давно и внимательно, как смотрят на чужую работу. Кипятить всё. Всегда. Третья версия сидела в нём крепче двух других, и сегодняшний день не опроверг её ни в чём: весь магазин пил одну и ту же воду, и весь магазин лежал у своих касс. Он снял котелок, дал ему кипеть дольше положенного — ровно настолько, насколько рука сама решила, — и не стал записывать в журнал, что меру эту он принял уже не рассудком.

В самом конце он поставил на карте новый значок, которого не было в его легенде за все годы, что он её чертил. Наводнения там были, и пожары, и карантины, и непроходимость. Этот значок он придумал сегодня и подписал коротко: «Крысы. Не боятся».

Завтрашний день он тоже расписал, прежде чем лечь: не супермаркет — аптеки. Спальные районы, маленькие витрины, список отредактирован по справочнику ещё весной, когда весна была другой. Три адреса. Четвёртый, больничный, стоял в конце списка без очереди — «не туда», — и Дэн подчеркнул это «не туда» ещё раз, маркером, как подчёркивают мины на схеме.

Потом он достал из-под навеса вторую бутылку — не для порога — и рюмку, единственную, которая нашлась в сторожке, толстостенную, гранёную, из тех, что продают в армейских

лавках для антуража. Внутрь — необязательно, так он и записал в правилах когда-то; сегодня было «по необязательно». Налил немного. Поднял, кивнул пустой комнате — как кивают соседу по окопу, которого нет, — и выпил, глядя в темнеющее окно на запад, где за хребтом лежал город, отступивший ему сегодня на один шаг. Водка обожгла ровно. Протокол есть протокол: он не спорил с ним даже там, где написал его сам. Внутри было тихо. Из памяти, из-под стеллажа, на него по-прежнему смотрели крысы — и он сидел и смотрел на них в ответ, пока не стемнело окончательно.

# Глава четвёртая

**АПТЕКА**

Утро началось с бумаги, а не с мотора.

Дэн сидел за столом сторожки, разложив на досках три вещи: сложенный вчетверо список, справочник по полевой медицине в обложке цвета хаки и толстый телефонный справочник округа, из которого он когда-то, в другой жизни, вырывал страницы на розжиг. Список был старый, весенний — он редактировал его ещё тогда, когда весна была просто весной, а не последней весной: амоксициллин, ципрофлоксацин, доксициклин; метронидазол отдельной строкой, потому что про зубы думают всегда позже, чем надо; хлоргексидин, йод, перекись; бинты, пластырь катушками, жгуты, иглы и нить — не хирургические, а обычные, потому что хирургических в аптеке не лежит, а шить всё равно придётся чем-нибудь. Напротив каждой строки он ещё весной написал дозировку и курс — по справочнику, аккуратным своим почерком, — а сейчас, карандашом, добавил в конце одно слово: «морфин». Подумал и не зачеркнул. Морфин в списке выглядел надеждой на то, что какие-то вещи в будущем будут делаться не на кухонном столе и не в полную сознательность, но надежда эта была из тех, что записывают впрок, как соль.

За окном, в тридцати шагах от крыльца, на открытом месте стоял вчерашний прицеп — груз на отстое, вторая ночь под небом. Дэн прошёл мимо него к пикапу и не остановился: отстой тем и хорош, что не требует участия. Молчит двое суток — значит, работает.

Воду в дорогу он налил из вчерашнего кипятка: фляга и термос, оба своих, оба стояли у печки с наклейками «кип» — он наклеил их ещё в первую неделю, чтобы рука в полусне или в спешке не потянулась к сырой. В машине вода из горлышка показалась ему тёплой и плоской, какой бывает вода, вскипячённая накануне, и он пил её с удовольствием человека, у которого на «плоское» есть веский ответ. Водку, вчерашнюю, двадцать четыре бутылки, он вечером переставил под навес отдельным штабелем и пересчитал дважды: шестнадцать на порог, восемь — в резерв, и рядом, на полке, уже стояло четыре литровых флакона хлоргексидина из сегодняшнего списка — стояли бы, если бы список исполнился. Спирт кончается. Антисептик, похоже, нет. Это была первая хорошая новость за утро, и он записал её в журнал раньше, чем случилась.

Сборы были короче вчерашних, потому что порядок уже существовал, а порядок — это и есть сокращение всех сборов на свете. Комбинезон из мешка, второй фильтр — он подписал его фломастером на резинке: «№2, 27 сентября», — и дату эту внёс в журнал до выхода, как вносят в судовой журнал отход, а не приход. Респиратор он надел у самого пикапа, на ветру, проверил поджатие клапанов ладонями — на выдохе маска должна дуться, на вдохе липнуть, — и только после этого завёл мотор.

Больницы в плане на сегодня не стояли. Они стояли в списке подчёркнутые — «не туда», — и подчёркнутое он читал дважды, как читают отрицание в приказе. Аптек было три, все в спальных районах, все маленькие, с витриной на улицу и складом величиной с чулан; до больших он ещё дойдёт, но большие ломали первыми, а к маленьким у мародёрства всегда очередь вторая. Это он знал ещё по Фаллудже: главный склад берут в первый день, а чулок за чей-нибудь лавкой помнят неделю.

Район встретил его иначе, чем торговая улица позавчера. С развязки, где он на минуту остановился проверить ветер, он заодно поискал глазами вчерашние маячки: дым двести двенадцатого азимута стоял на месте, тонкий и ровный, а двести сорок седьмого не было вовсе — то ли догорело, то ли погасили, то ли ветер снёс струю к самым крышам. Дэн пометил пропажу на карте и поехал дальше с неприятным чувством человека, у которого одна из немногих точек на карте только что шевельнулась.

Здесь город умирал не у касс и не в пробке — здесь он умирал дома, и разница была видна с дороги: машины стояли по карманам и подъездным карманам, припаркованные, а не брошенные; двери домов — закрытые, не выбитые; на лужайках — вещи, которые выносят, когда собираются вернуться: садовый шланг, брошенный поперёк дорожки, колёсико от детского велосипеда, почтовый ящик с приоткрытой крышкой, из которого ветер неделями вынимал по бумажке. Город торговый лежал навзничь, а этот — будто уснул в одежде, и Дэн ехал медленно не из осторожности даже, а потому что быстро ехать по этому было неправильно, как неправильно быстро ходить по чужому дому.

Первая аптека стояла в кирпичном стрип-молле между химчисткой и пустым офисом страховщика, сетевая, с красно-белой вывеской. Стеклянную дверь разбили давно и неаккуратно — удар пришёлся в нижний угол, и стекло легло внутрь фартуком, уже втоптанным в грязь сотней проходов. Дэн вошёл через эту дверь, шагнув высоко, по привычке не скрипеть, и остановился за порогом, как останавливался теперь везде: сперва ветер, потом звук, потом порог — только ветра здесь не было, был застой, сладкий и тяжёлый, и звука не было, и это было ответом.

Розничный зал грабили люди, которые спешили. Стеллажи стояли, но полки с обезболивающим были выметены до картонных разделителей, а рядом, через проход, витамины стояли рядами ровными, как в день завоза, — красивые банки с оранжевыми этикетками, целые, никому не нужные. За рецептурной стойкой было хуже: шкафы вскрыты, ящики выдвинуты и брошены выдвинутыми, на полу — белый ковёр из пустых блистеров, и каждый блистер когда-то был чьим-то рецептом, чьей-то очередью, чьим-то страхом. Дэн обошёл стойку и прошёлся вдоль остатков с фонарём, не трогая ничего руками, только читая этикетки. Антибиотиков не было. Ни одной упаковки, ни одного флакона — их вынесли в первую же волну, ещё когда это называлось не грабежом, а запасом на всякий случай, и те, кто вынес, тоже, наверное, составляли списки и тоже подписывали даты. В уголке за стойкой, где работал сам фармацевт, жизнь оборвалась аккуратнее: на столике стояла кружка с написанным маркером именем — «Пэм», — календарь был перевёрнут на сентябрь, и красным по клеткам шёл отпуск, запланированный на октябрь, две недели, до самого Хэллоуина, а на мониторе липким листком висело «вернусь через 10 минут». Десять минут закончились для всех примерно одинаково. Аптека, понял Дэн, умерла раньше города: полки опустели, когда люди ещё стояли в очередях, и грабёж был уже не причиной, а панихидой.

Из своего списка он нашёл здесь одну строку: жгуты, три штуки, в отделе перевязочных, куда мародёры не заглянули, потому что жгут — это не про то, чего боялись в сентябре. Он взял их рукой в двойном нитриле и опустил в мешок, стоящий на тележке, и записал в блокнот против карандашного списка короткую помету. Всё. Целая аптека — и три жгута. Он вышел через ту же дверь, и на пороге его обдало ветром с запада, тёплым, и он постоял, давая ветру пройтись по комбинезону, прежде чем сесть в кабину.

На карте против первого адреса он написал, что аптека вскрыта и пуста, что перевязочный отдел не тронут, и что возвращаться сюда можно за бинтами, когда дойдёт дело до бинтов. Второй адрес лежал в двенадцати кварталах к северу, и он поехал туда по параллельной улице, потому что главная, как он уже знал, текла в одну сторону — к эвакуационным выездам — и стояла, застыв в этом течении.

Вторая аптека была не сетевой. Она сидела в первом этаже углового дома, узкая витрина, деревянная дверь с колокольчиком, и на двери — листок из школьной тетради в клетку, приклеенный изнутри скотчем по углам. Почерк был старческий, прямой, с нажимом: «Закрыто. Антибиотиков нет, я раздал. Инсулина нет. Простудного нет. Не ломайте дверь, пожалуйста, её дед столярничал. Берегите друг друга. Дж. Велеско, фармацевт». Дэн прочёл записку дважды. Потом посветил фонарём сквозь витрину: зал стоял чистый и пустой, полки голые, но голые по-хозяйски — ни одной вещи на полу, касса прикрыта чехлом, на стойке выстроен

ряд пустых корзинок, как выстраивают вещи люди, которые уходят ненадолго и собираются навести порядок по возвращении. Дверь держалась не на замке, а на записке — и держалась, что было видно по целому стеклу и непоцарапанному косяку: сентябрьский город, у которого отнимали всё, эту дверь почему-то уважил. Дэн постоял перед ней. Ломать её, чтобы забрать чужие пустые полки, было незачем; но дело было не в «незачем» — он честно поискал в себе расчёт и не нашёл, нашёл другое: человек, который в последнюю неделю стоял здесь и раздавал, сказал «пожалуйста» тому, кто придёт с ломом, и это его «пожалуйста» почему-то сработало и на сентябрьских мародёров, и вот теперь на него. Дэн опустил ломик, который уже отстёгивал от пояса рюкзака, — он даже не успел его отстегнуть, он только тронул карабин, — и на карте против второго адреса написал коротко: «Велеско. Раздал. Дверь не трогать». Последние два слова он написал для себя на будущее, на голодный февраль, когда закончится что-нибудь такое, что заставит перечитывать карту жадными глазами.

На лужайке у третьего адреса стояла табличка агентства недвижимости, и сама аптека оказалась в цоколе кирпичного дома тридцатых годов, вниз по четырём ступеням, с вывеской, где половина букв давно не светилась. Эту дверь ломали тоже — но иначе, чем первую: не спеша, ломом, по замку, аккуратно, и следы на краске были свежие не то чтобы по дням — в мёртвом городе свежесть перестала измеряться днями, — а по тому, что щепа от косяка лежала ещё не растоптанной. Дэн спустился по ступеням и остановился на последней.

Запах здесь был другой, и он прочёл его раньше, чем дочитал сцену. Под застоем и аптекарской пылью лежал знакомый уже, сладковатый, ни с чем не перепутаешь — и значит, внутри кто-то был, и этот кто-то был мёртв, и мёртв недавно по городским меркам: не сентябрьская волна, а позже. Позже — это была новость, и новость плохая, потому что она значила, что по городу ходили живые после того, как город умер, и умирали уже отдельно, по одному, и что болезнь не ушла вместе с толпой, а осталась, как остаётся огонь в торфе.

Он вошёл низко, с фонарём и ружьём, по стеночке, как входил когда-то в комнаты на другом континенте, — и в этой аптеке приём сработал так же, как там: ничего не произошло. Зал был маленький, три стеллажа, стойка. В подсобке он побывал первым делом, до всякого списка: чулан с картонными коробами, служебный туалет, дверь в тамбур заднего выхода — заперта изнутри, и это было важно, потому что значило, что за спиной у него отныне никого нет и быть не может. Из чулана тянуло мышами и старым картоном, по обычному, живому; мышей он услышал, не увидел — шорох по коробам, деловитый, и шорох этот его обрадовал: обычные мыши, которые шебаршат и удирают, были сегодня хорошей новостью после вчерашней подсобки супермаркета, где крысы стояли и смотрели. Фильтр к этому часу уже вяз к влаге, дышалось тяжелее, и он отметил время: два с небольшим часа на фильтре, предел четырёх, — ещё час работы, не больше. За стойкой, в углу, стоял металлический шкаф цвета слоновой кости, и дверца его висела на одной петле, вывороченная ломом, — сейф-шкаф, контрольный, то, что в аптеках держат отдельно от всего и отпускают по бумагам с тремя подписями. А у порога, между дверью и стойкой, лежал человек, который этот шкаф вскрыл.

Он лежал ничком, лицом к выходу, одна рука вытянута к ступеням, к свету, и в кулаке — пакет, коричневый аптекарский пакет, скомканный. Лом лежал в двух шагах, у стеллажа, туда, куда его бросили, когда он перестал быть нужен. Человек был одет хорошо, по-домашнему аккуратно: куртка застёгнута, шнурки завязаны бантиком, — человек, который шёл за лекарством, а не за добычей, и Дэн увидел это сразу, но мысль эту отложил, потому что сперва было дело: он обошёл зал ещё раз, медленно, по второму кругу, заглянул за каждый стеллаж, вернулся к стойке и только тогда присел рядом, на корточки, на приличном расстоянии, как садятся у чужой постели.

Смерть пришла к этому человеку не от лихорадки в её сентябрьском виде — и в то же время, по всему, что мог прочесть Дэн, именно от неё: от неё, затянувшейся, смягчённой, неторопливой, которая добирала одиночек неделями позже общего срока. Почему этот прожил

дольше города и всё равно догорел — вопрос, на который у Дэна не было ответа, как не было ответа и на главный. Были только версии, и все три его версии от таких находок не крепли, а путались.

Он сделал то, что полагалось сделать. Сперва — опись, потому что порядок есть порядок даже здесь: пакет из кулака он не вынимал, а прочёл насквозь фонарём — ампулы, коробочки с ампулами, и этикетки все контрольные; человек нёс обезболивающее, много обезболивающего, и в кармане куртки фонарь нашёл второй пакет, не распечатанный. Зачем столько — Дэн не знал и знать не хотел: мёртвый не отвечает за замысел, а живой, который судит мёртвого по замыслу, — тот следующим начнёт судить и живых, если они когда-нибудь найдутся, а судья из него был бы никакой. Потом — документы: бумажник лежал во внутреннем кармане, права штата Колорадо на имя Роберта Дейла, сорок один год, адрес — в трёх кварталах отсюда, и чек из этой же аптеки, двухлетней давности, выцветший, сложенный вчетверо за правами. Он был здесь своим. Он пришёл сюда, как приходят в знакомое место, где когда-то здоровались. Глаза ему Дэн закрыл ладонью в перчатке, осторожно, как закрывают дверь в комнату, где спят. Потом нашёл за стойкой фармацевтический журнальный картон, оторвал полосу, написал крупно и чётко: «Роберт Дейл» — и положил полосу человеку на грудь, придавив пустым флаконом, чтобы не сдуло сквозняком. Чтобы нашедший — если будет нашедший, если будет когда — начал с имени, а не с пакета.

Потом он работал. Шкаф с вывороченной дверцей он осмотрел и оставил почти весь: из контрольного он взял одну упаковку морфина в ампулах, заводскую, с не тронутой фольгой, — ровно столько, сколько может понадобиться человеку, у которого нет хирурга, и ни ампулой больше, потому что остальное в доме одного человека — не лекарство, а соблазн, а соблазны он хоронил ещё в другой жизни. Упаковку он записал в блокнот и подпись свою поставил, как расписку. Зато обычные стеллажи, которых взломщик не коснулся вовсе, — ему было не до них, — дали больше, чем обещал худший из его прогнозов: амоксициллин нашёлся, две пачки, не тронутые в нижнем ряду, куда не дотянулась спешащая рука; ципрофлоксацин — один, последний; доксициклина не было, и он пометил это; зато хлоргексидин стоял литровыми флаконами, скучными, никому не нужными, и он взял четыре, и йод взял, и перекись, и перевязку — всю, сколько влезло в два мешка, потому что третья аптека оказалась той самой лавкой с чулком, до которой у мародёрства не дошла вторая очередь. Работал он долго, по списку, строка за строкой, и дважды останавливался — не от звука, звука не было, — а от того, что поймал себя на работе молча и быстро, как работают наспех, и заставлял себя замедлиться: спешка здесь была неуместна, оскорбительна даже, потому что человек у порога не спешил уже никуда.

В машину он выносил мешки по одному, и каждый раз, поднимаясь по четырём ступеням, переступал через мёртвого аккуратно, со стороны, и каждый раз говорил про себя одно и то же слово — «прости», — и ловил себя на этом, и не переставал.

След он увидел, когда выносил последний мешок.

Он лежал на асфальте в трёх шагах от нижней ступени, на пыльной полосе у самой водосточной канавы, куда неделями не доходил ни дождь, ни шина, — и потому лежал чётко, как печать: широкая мягкая лопасть подошвы, четыре пальца веером, и перед каждым пальцем, впереди, точка когтя, ушедшая в асфальтовую пыль. Дэн поставил мешок на мостовую. Медленно, не сводя глаз с отпечатка, отошёл на шаг в сторону, чтобы его собственная подошва не встала рядом, присел на корточки и долго просто смотрел, не трогая.

Он знал следы. Это было одно из немногих, чему его учили так, как учат грамоте: сперва отец в лесах под Ганнисоном, потом инструкторы, потом собственные тридцать лет осеней, когда по пыли лесной дороги он читал утренние новости точнее любой газеты. Кошачий след не спутаешь ни с чем: собака и волк печатают когти вместе с пальцами и ладонью в треугольник, кошка идёт иначе — кругло, мягко, с подошвой, похожей на букву, — и когтей у кошки на ходу

нет, кошка их прячет. Здесь когти были. Здесь когти были, потому что зверь шёл быстро или тяжело, и перед лопастью, в пыли, лежали четыре глубокие точки, как четыре клепки. А размер — Дэн достал из нагрудного кармана линейку, тонкую, стальную, из набора чертёжного, которым правил свои карты, и приложил: поперёк подошвы было больше двенадцати сантиметров.

Пума. Это было первое слово, и он сказал его вслух, и вторая мысль пришла сразу, потому что была готова: пума в этих местах — дело обычное, он сам встречал их следы выше по хребту, и крупный самец печатает десять, бывает одиннадцать сантиметров. Но не двенадцать. И пума не давит когти впереди пальцев на ровном ходу, и пума — он обошёл находку и нашёл второй отпечаток, потом третий, уходящие вдоль канавы на восток, — и пума не шагает так, с такой поступью, широкой и вальяжной, с переносом веса, который читается даже в пыли. Он сфотографировал след телефоном, положив рядом линейку, потом обвёл отпечаток по краю перочинным ножом, процарапав в пыли круг — не ради науки, а чтобы завтрашний ветер не солгал ему, если он вернётся перепроверить.

След уходил на восток. На востоке, за кварталами, лежал город весь целиком, а за городом — ничего, равнина; и Дэн стоял, посреди улицы, где не было никого, кто мог бы с ним поспорить, и спорил сам с собой: такого следа здесь быть не могло. Не по книгам. Не по картам. Не по тридцати его осеням. Кошка с такой лапой не живёт в Колорадо — она живёт в совсем других горах, за другими океанами, или в двух местах похуже: в клетке и за стеклом. Эту мысль он не додумал до конца, потому что конец у неё был слишком длинный, и он отложил её, как откладывают инструмент, который понадобится позже.

Домой он ехал медленно, и дело было не в мешках.

Обратный порядок исполнил целиком, без единого пропуска, потому что сегодняшний день дал ему то, чего он не ждал: человека, умершего позже срока, — а значит, торф тлел, и протокол был уже не привычкой, а единственным разумным ответом на то, что нельзя измерить. Мешки — к прицепу, на отстой, к вчерашнему грузу; комбинезон — валиком в мешок; перчатки наружу; распылитель по сапогам сверху вниз, не пропуская шнуровки. На пороге — бутылка. Он протёр лицо, шею, руки до локтей, медленно и не жалея, и спирт остыл на коже ветром, и только после этого он переступил дверь. Так будет каждый раз. Сегодня — тем более.

Сеанс восемнадцати ноль-ноль он провёл по форме и записал в журнал: «Эфир пуст». Потом долго сидел над блокнотом, и наконец встал, снял с полки чистую тетрадь в чёрной обложке — таких у него была стопка, купленных когда-то оптом, — и написал на первой странице два слова: «Книга имён». Подумал. Имён у него было пока два, и оба он написал сразу, вечером, задним числом: первым — Эрл Коутс, сосед по улице, найден на крыльце собственного дома двадцать четвёртого сентября; вторым — Роберт Дейл, сорок один год, найден в аптеке на Девятой, двадцать седьмого. Под именем Дейла он сделал помету, которой не делал под Эрлом: «дата смерти неизвестна; позже общего срока». А под пометой, помедлив, приписал то, что не стал бы писать в рабочем журнале, потому что журнал был для учёта, а эта тетрадь — нет: «Шёл за обезболивающим. Кому — не знаю. Глаза закрыл. Имя оставлено».

Ужин был поздний и простой, и воду под него он кипятил с избытком, дав котелку прогрохотать на печке дольше всякой надобности, — и опять, как накануне, не стал заносить в журнал, что держал кипение дольше положенного. Третья версия стояла в нём теперь впереди двух других, и сегодняшний день её не ослабил: человек, который умер позже всех, мог умереть от чего угодно — от грязного горлышка, от лужи, от банки консервов, открытой не теми руками.

Потом он раскрыл справочник следов — тонкий, в жёлтой обложке, «Следы Скалистых гор», зачитанный до мазута на сгибах, — и положил рядом телефон с фотографией. Крупнейший отпечаток пумы, который знал справочник, был на сантиметр уже того, что лежал в пыли у аптеки. Справочник был авторитетом тридцати его осеней. Дэн закрыл его, подумал, открыл снова — на той же странице, потому что других страниц на эту тему не существовало, — и

перечитал строки про когти: «на ходу когти в следе не отпечатываются». У канавы отпечатались. Он дописал в журнал, внизу, под «Эфир пуст», одну строку и подчеркнул её дважды: «След у аптеки на Девятой: кошка, крупнее пумы, с когтями. Ушла на восток». А потом долго сидел в темноте, слушая, как за окном работает ветер, и впервые за эти недели тишина за стенами сторожки показалась ему не пустой.

# Глава пятая

**БУНКЕР**

О Пайн-Холлоу он думал с того самого вечера, когда записал в журнале, что дом — это крыло морга.

Место было присмотрено давно, без всякой мысли о конце света — просто человек, который читает карты и планы округа, как другие читают газеты, однажды отметил его для себя и положил в память. Горный посёлок в сорока милях от города, одна улица, кафе, заправка, церковь, школа. Школа — кирпичная, одноэтажная, построенная в пятьдесят седьмом, когда строили так, будто здание должно было пережить своих учеников, а на фасаде, у самого входа, три жёлто-чёрных знака с тремя треугольниками в круге. Убежище гражданской обороны. В те годы их ставили под школами, больницами и пожарными частями — бетон в человеческий рост, дверь на штурвале, фильтровентиляция, колодец, запасы на две недели для полусотни человек. Знаки эти Дэн видел сотню раз по всему штату, за дверями таких знаков обычно лежали стулья и старые маты. Но под Пайн-Холлоу, он помнил это по окружным чертежам, лежало настоящее — закладная, не распроданная под склад, и колодец на плане был пробурен внутри периметра, а не снаружи. Человеку, который ищет базу, а не кладовую, это разница между домом и сараем.

Выехал он на рассвете двадцать восьмого, с фильтром «№3» на резинке, винтовкой, ломом, двумя канистрами воды и чётким правилом: сегодня — только смотреть. В кузове лежала пустая сетка и складная тачка — на случай, если смотреть придётся недолго. Топлива в баке стояло три четверти, и в журнале против даты он записал расход заранее, как всегда: сорок миль туда, сорок обратно, горный профиль, значит десять галлонов с гарантией, а не восемь по паспорту.

До отъезда, на рассвете, он разобрал прицеп: отстой у супермаркетного груза вышел в полночь, и двое суток под ветром и солнцем были отмолчаны. Рис и соль ушли в сторожку, на полки, которые он всю неделю переделывал под хранение; мешки он переносил по одному и каждый осматривал на прогрызы — мыши до прицепа не добрались, и это было маленькой победой порядка над случаем. Водка из первого ящика встала под навес. Аптечные мешки молчали своё — до завтра. Он работал быстро, но не торопясь, и под конец поймал себя на том, что напевает — без мотива, просто носом, — и остановился, потому что не мог вспомнить, когда напевал в последний раз.

Дорога забирала вверх сразу, и город остался внизу — дымка, тихая геометрия кварталов, ни одного дымка, кроме того, двести двенадцатого, который стоял третий день тонко и ровно, и который Дэн по-прежнему не собирался проверять. Посёлок начинался, как начинаются все горные посёлки: с таблички ограничения скорости, которую никто никогда не соблюдал, и с перекошенной парковки сразу за ней. Почта с американским флагом, опущенным не наполовину — просто перекрученным вокруг флагштока ветром. Кафе с вывеской «лучшие блины на хребте» и распахнутой дверью, из которой выходила дорожка обглоданных перьев — кто-то мелкий и зубастый давно присвоил кухню. Заправка с двумя колонками пятидесятых годов, вечная, вечноживая, в которую Дэн мысленно поставил галочку: дизель здесь будет жить дольше, чем люди. Напротив церкви стоял дом с приоткрытой входной дверью и двумя маленькими велосипедами у крыльца — один розовый, с бахромой на руле, другой зелёный, — и велосипеды эти Дэн отметил краем глаза, как отмечал всё, и проехал мимо, потому что чужие двери он сегодня не открывал: посёлок будет обследован, но не сегодня и не в спешке, и двери в нём подождут, они теперь никуда не торопятся.

Он ехал медленно, по главной и единственной, и посёлок был тих тем особенным покоем маленьких мест, где мёртвые лежали не на улицах, а в домах, и улица от этого казалась пустой

декорацией, которую забыли разобрать. Собаки здесь были — следы на пыли, кучи на обочинах, — но не показались, и это он тоже отметил. Кошачьих следов не было; он смотрел.

Школа стояла в конце улицы, на пригорке, с флагштоком, на котором флага не было вовсе, и с баскетбольной площадкой, заросшей по трещинам тонкой травой. Три жёлто-чёрных знака висели на своих местах у входа, выцветшие, но читаемые. Дэн поставил пикап поперёк въезда, носом к выезду, как ставил теперь всегда, и долго сидел, слушая. Ветер шёл вдоль улицы, с гор, чистый. Потом он вышел, обошёл здание по периметру, заглянул в окна — парты, стопки тетрадей, расписание, выцветшие гирлянды из бумажных листьев, — и только после этого спустился по бетонным ступеням сбоку от главного входа, туда, где под козырьком стояла она.

Дверь была из тех, что не забываются: сталь в дюйм, ржавая патина по кромкам, и посреди — штурвал, как на корабельной переборке. Дэн положил ладонь на штурвал и повернул — без силы, просто попробовал. Штурвал не пошёл ни на волос. Он налёг, плечом, правильно, и сталь ответила тем единственным звуком, который ему был сейчас нужен и который он меньше всего хотел услышать: глухим, внутренним, мёртвым упором собак, лежащих в пазах с той стороны.

Заперто изнутри.

Он отступил на ступень и стоял так долго, глядя на дверь. Заперто изнутри значило одно: кто-то вошёл, закрутил штурвал за собой — и не вышел. Шестидесятые тут были ни при чём: ржавчина на кромках была старой, а у подножия, на бетоне, лежал пластиковый стаканчик из кафе, новый, глянцевый, с откусанной соломинкой, — сентябрьский, не иначе. Кто-то пришёл сюда в сентябре. С блинами, со стаканчиком, с ключами или с ломом. И заперся. И молчал, когда город за сорока миль умирал, — потому что ради такого это убежище и строили.

Дэн постучал. Ломом, по стали, три удара — так стучат в переборку, когда ищут живых, ровно и громко, — и прислушался, склонив голову. Потом постучал ещё раз, другую серию. Бетон и сталь держат звук долго, и если бы за дверью был кто-то живой, звук бы вернулся — шагами, голосом, хоть чем-нибудь. Вернулось эхо самих ударов и ничего больше.

Он мог бы взять эту дверь. Долго, шумно, с резаком — а резака с собой не было, и волочь компрессор в гору на один замок было глупостью. Но он знал, как строили эти убежища, и потому обошёл школу снова, уже не глядя в окна, а считая шаги от угла здания на северо-восток, по плану, который помнил хуже, чем хотелось. Аварийный выход у таких объектов полагался всегда: второй ход, узкий колодец с металлическими скобами, выводящий на поверхность в тридцати-сорока футах от основного — чтобы люди могли выбраться, если вход завалит. Сверху колодец закрывала крышка, чугунная, на петле, — а чугун не знает, с какой стороны его открывают.

Крышку он нашёл под гравием игровой площадки, по шву в неровности, и отгрёб её тачкой и лопатой за час с лишним, останавливаясь слушать тишину и разминая спину. Колодец уходил вниз в темноту, скобы блестели, как блестят вещи, которых никто никогда не касался. Дэн вытащил фонарь, посветил вниз — двенадцать футов, на дне песок и листва, — и прежде чем полезть, сделал то, что делал всегда в этих местах: встал с наветренной стороны, приоткрыл крышку пошире и дал воздуху подняться.

Запах пришёл сразу, ещё до того, как он закончил считать до десяти.

Знакомый уже, сладковатый, плотный — но старый, осевший, не волна, а шлейф. Дэн отвернулся, выдохнул, и некоторое время смотрел на горы, соображая не то что решение — решение было принято ещё у двери, — а порядок. Респиратор он не снимал с утра; теперь он проверил клапаны ещё раз, натянул вторую пару нитрила поверх рабочих перчаток и достал из кузова распылитель. Вниз он спускался медленно, по скобам, с ружьём за спиной и фонарём на груди, и на каждой скобе останавливался — не потому что боялся того, что найдёт. Он уже знал, что найдёт. Он давал себе время привыкнуть к этому до того, как увидит.

Внутри было просторнее, чем он ждал, — люди пятидесятых строили с размахом и верой. Главный зал в пятьдесят футов длиной, ряды раскладушек вдоль стен, столы, стеллажи с бочками воды и армейскими ящиками сухпайков, крышки которых никто не вскрывал за шестьдесят лет; дальше — санитарный угол, генераторная с ручным приводом вентиляции, и в самом конце, за аркой, — две комнаты поменьше. Бочек с водой стояло восемь, пятидесятигаллонных, казённых, с клеймами шестьдесят второго года, и вода в них, Дэн знал это заранее, будет мёртвой — шестьдесят лет в закрытом баке убивают воду надёжнее кипячения; но клеймёная бочка сама по себе была богатством, потому что бочку можно опорожнить, вымыть и наполнить из колодца. Ящики с сухпайками он вскрыл один, демонстрационно: галеты превратились в оружейное дерево, конфеты — в янтарь с надписями. Всё это пойдёт на вывоз и в яму, но не сегодня. Зато инструмент в генераторной — гаечные ключи в полный рост, ломы, кувалда, ручная лебёдка, — лежал в нетронутой смазке, и это было первое настоящее богатство убежища: вещи, сделанные людьми, которые собирались жить долго. Луч фонаря шёл по залу ровно, и Дэн вёл его медленно, от двери к дальней стене, читая то, что здесь произошло, как читал следы: сперва картина целиком, потом подробности.

Картина была такая. В убежище спускались жить, а не умирать: у раскладушек — одеяла из дома, нормальные, цветные, детские; на столе — настольная игра, недоигранная партия остановилась на середине хода; на стене, у лампы, — лист ватмана, и на нём детской рукой, фломастерами, выведено «НАШ ДОМ» и нарисованы четыре фигурки: два больших, два маленьких, и у всех одинаковые улыбки дугами. А запасы из ящиков не тронуты — люди принесли свою еду, свою воду, свои лекарства, как будто шли сюда не навсегда, а в поход, и собирались вернуться, когда всё кончится. Оно и кончилось. Только не так.

Лихорадку они принесли с собой — это читалось без труда, и Дэн читал медленно, потому что ошибаться здесь было нельзя. Трое лежали в главном зале, на раскладушках и у раскладушек, накрытые одеялами до подбородков, — кто-то укладывал их, укрывал, значит, уходили они не сразу и не вместе, и кто-то оставался последним. Последним был отец: у его раскладушки стоял походный стульчик, обращённый к остальным, и на стульчике — стопка носовых платков и градусник, всё домашнее, всё для заботы, которая ничего уже не могла. Когда кончилась его очередь, он не лёг. Он лежал у двери на штурвале, на полу, спиной к залу, лицом к выходу, и рядом стоял фонарь на батарейках, давно севших, и лежал молоток. Дэн понял эту картину, как понимают с полувзгляда: последний, кто остался на ногах, пришёл к двери открывать её — и не смог, или не успел, или передумал открывать её миру, который за дверью кончился. Молоток — чтобы стучать. Стучать было уже некому и некуда.

Документы нашлись в сумке на столе, аккуратно сложенные в папку, — люди, уходящие в убежище, берут документы, как берут зонтик. Дуэйн и Карла Пейс, сюда, с единственной улицы Пайн-Холлоу, дом напротив церкви. Дэн перечитал адрес, и ему вспомнились два маленьких велосипеда у крыльца — розовый, с бахромой, и зелёный, — и он некоторое время сидел с папкой в руках, глядя в стену, потому что адрес на бумаге и велосипеды на крыльце были одной и той же семьёй, и теперь это знание жило в нём. Дети — по школьным карточкам, вложенным туда же, с фотографиями: Тоби, девять лет, и Лив, шесть. На обороте старшей карточки отцовской рукой было выведено: «Аллергия: арахис». Дэн держал карточку под фонарём дольше, чем нужно для чтения, а потом убрал папку в планшет, бережно, как убирают чужое важное.

Числа он восстановил по настенному календарю из кафе — «лучшие блины на хребте», — который висел у раскладушек: крестики по дням шли до одиннадцатого сентября, а двенадцатое было обведено и зачёркнуто одновременно — человек начал отмечать день и не довёл черту до конца. Они спустились сюда в первую неделю, ещё когда сверху всё работало. У них было всё, кроме одного: инкубация не спрашивает разрешения у двери на штурвале. Шесть суток — и лихорадка вышла из человека, который думал, что унёс от неё семью. Дэн стоял посреди зала и думал о том, сколько сотен таких дверей стоит сейчас по всей стране запертых

изнутри, и что его три версии — воздух, вода, сроки — все три здесь, в этом зале, не нужны, потому что здесь было простое и старое: её внесли любимые руки.

Работу он начал с двери. Штурвал с той стороны поддался рывку — механизм был исправен, просто заперт, — и створка ушла наружу с воем, от которого по всей улице Пайн-Холлоу метнулись тени мелкой живности. Свет и горный ветер вошли в убежище впервые за три недели. Дэн выставил у двери распылитель, обработал тамбур, и только потом приступил.

Четверых он выносил по одному, и на всё ушло время, которое он не считал. Он заворачивал каждого в его собственное одеяло — другое здесь казалось неправильным, — поднимал, нёс по ступеням, по свету, и укладывал на траву у школьного двора, в тени флагштока. Маленькие были лёгкие, и от этой лёгкости у него перехватило дыхание ровно один раз — он остановился на середине двора, постоял, глядя в горы, потом донёс. Молоток и севший фонарь он вынес тоже и положил рядом с последним, с отцом, потому что эти вещи принадлежали ему и его работе, которую он не успел доделать.

Ямы он копал на баскетбольной площадке, вдоль её дальней бровки, где земля была мягче и где зимой солнце будет заглядывать первым, — четыре, в ряд, на глубину, которую он знал и которую не обсуждал ни с кем уже двадцать лет. Работа заняла остаток дня и утро следующего, потому что земля под площадкой оказалась с щебёнкой, а он не имел привычки делать такие вещи вполовину. Над каждой могилой он поставил крест из школьной доски, струганой и ровной — в подсобке школы нашлись и доски, и рубанок, — и на каждом кресте выжег паяльной лампой имя, потому что краска ветрует, а жжёное остаётся. Дуэйн. Карла. Тоби. Лив. Вечером второго дня, когда всё было кончено, он постоял над рядком холмиков, снял респиратор — здесь, на ветру, на своей земле, — и прочёл вслух, по именам, все четыре, потому что имена должны звучать, а не только лежать в тетради. Потом сказал то единственное, что сумел: «Место хорошее. Сторожите школу».

В книгу имён они вошли тем же вечером, в сторожке, строками, которые он писал медленно: «Семья Пейс целиком: Дуэйн; Карла; Тоби, девяти лет; Лив, шести. Убежище под школой, Пайн-Холлоу. Спустились около десятого сентября. Лихорадку принесли с собой. Похоронены у школьного двора, кресты, имена выжжены». А ниже, после долгого сидения над раскрытой тетрадью, он приписал то, что относилось уже не к Пейсам, а ко всей тетради: «Книга начата поздно. Те, кого я не нашёл или не опознал, всё равно считаются. Строки для них будут пустыми. Пустые строки тоже считаются».

Три дня ушли на бетон. Он приезжал каждое утро, с рассветом, и уходил в темноте; спал в сторожке, потому что протокол есть протокол и убежище, в котором умерли четверо, сначала перестаёт быть склепом, потом становится помещением, и только после этого — местом, где можно спать. Хлорку он возил канистрами — свою, старую, из тревожного ящика, которая за годы выдохлась до половины силы, и потому шла двойными нормами, — и работал сверху вниз, зал за залом: потолки, стены, полы, раскладушки, которые он сначала обработал, а потом всё равно вынес и сжёг за школой, потому что некоторые вещи не отмываются, а выгорают. Колодец он проверил отдельно, поднял ведро, кипятил пробу на примусе и пил весь третий день только её — вода стояла чистая и холодная, скважина уходила в скальник на двести футов, и это одно оправдывало всё. Фильтровентиляция, гражданская, лопастная, с ручным приводом и электрическим, оказалась исправной: он прокрутил её рукой, послушал подшипники, смазал, и она заработала ровно, с низким гудением, от которого в убежище впервые за три недели пошёл живой воздух.

Вечера были одинаковыми и хорошими, как хороша бывает усталость с результатом. Дорога домой занимала час с лишним по горам; у сторожки — обратный порядок: распылитель, перчатки наружу, комбинезон в мешок, водка по лицу и рукам на пороге, и только потом дверь. На второй из этих вечеров вышел отстой у аптечных мешков, и он занёс их в дом, поставил на отдельную полку, переписал по списку, а морфин убрал в самый дальний ящик стола,

под справочники, — туда, где вещи лежат до нужды, а не на виду. Сеанс в восемнадцать ноль-ноль он проводил каждый вечер, и каждый вечер писал одно и то же: «Эфир пуст». С высокого перегиба за Пайн-Холлоу, с места, где дорога в последний раз показывает долину, он два вечера подряд смотрел на дым двести двенадцатого азимута — тот стоял всё так же, тонко и ровно, и ровность эта нравилась Дэну всё меньше, потому что пожары так себя не ведут, а ведут себя так печки. На карте против азимута появилась вторая пометка: «4-й день. Ровный». Ближе он не подходил.

Переезд он просчитывал на третью ночь, за столом, с бутылкой керосина у локтя и картой перед собой. Сорок миль — это рейс; рейс с прицепом — это день с погрузкой и разгрузкой; всего у него набегало на четыре полных рейса, если не считать бочек. Бочки, две пятидесятипятигаллонные, полные, — отдельная песня: четыреста фунтов каждая, не закатить и не вывалить, значит, сначала он пригонит их к убежищу и опорожнит в казённые, вымытые, а свои заполнит из колодца уже там. Книга имён поедет первым рейсом, с ним самим, за пазухой, — он решил это сразу и даже не стал записывать, потому что такие вещи не планируют, их просто делают.

На третий день, вечером, он постоял в главном зале, где пахло уже не смертью и даже не хлоркой, а просто сырым бетоном, и сказал вслух — впервые за эти дни обращаясь к помещению, а не к мёртвым: «Годится».

На тот же вечер пришлось открытие, ради которого стоило копать.

Он обмерял дальнюю комнату под склады — шагами, как обмерял всё, — когда сапог у дальней стены ответил не так: звук у бетона был другой, с пустотой за ним. Стена здесь оказалась не стеной, а филёнкой — доски по направляющим, снаружи закрашенные под бетон серой краской, так старательно, что швы повторяли опалубку. Дэн работал осторожно, снимая доски одну за одной, и за третьей доской фонарь упёрся в стеллаж. А на стеллаже — в стойку, аккуратно, в чехлах и с ярлыками, как в музее, которому не изменили, — стояла радиостанция. Не переносная игрушка, как у него, а стационарный корпус военной раскраски, с надписью по верхней кромке, которую он прочёл дважды, потому что первый раз не поверил удаче: аварийная сеть гражданской обороны, RACES, с позывными округа, выжженными на табличке. Рядом — катушки кабеля, целые, в заводской плёнке, пятьдесят ом, сколько угодно. Под стеллажом — ящик с изоляторами и оттяжками. А на самом стеллаже, пришпиленная кнопками к пробковой доске, лежала схема, нарисованная карандашом от руки, ровно и любовно: антенное поле. Мачты, направления, длины плеч под диапазоны — кто-то шестьдесят лет назад чертил это для мира, в котором по этим проводам должны были говорить живые с живыми.

Дэн сел на ящик с изоляторами, не снимая перчаток, и долго смотрел на схему. У этого места когда-то были большие уши — и, выходило, его собственный ящик в сторожке, который он считал последним голосом Америки, был просто грамотным одиночкой при мёртвой сети. А сеть была вот. Стойка, кабель, план поля — и за сорока милями, внизу, тишина, которую эта машина могла долбить так, как его рюкзачной рации не снилось.

Он провёл по станции рукой, по чехлу, и читал её, как читал всё на свете: ламповая, вся, от входного каскада до усилителя мощности, — а это значило, что её не выжечь никаким импульсом, что чинить её можно на коленке, и что пара сотен ватт в антенну она даст, если дать ей ток и время прогреться. Питания здесь не было уже три недели, и генераторы в соседней комнате ждали солярки и рук. Антенного поля над школой не было вовсе — кабель с катушек никогда не поднимался в воздух, план так и остался планом, карандашным, с кнопками. Шестьдесят лет это место ждало войны, которая не пришла, и снаряжение лежало новеньким, заведённым один раз в год для проверки — Дэн нашёл и журнал обходов, аккуратный, с подписями, последняя запись датировалась маем, и человек, который её делал, вывел «всё исправно» и, видимо, ушёл домой ужинать.

Он осторожно снял схему с кнопок, сложил вдвое и убрал за пазуху, ближе к телу, чем документы Пейсов. Потом вышел из дальней комнаты, прошёл залом, запер за собой дверь на штурвал — теперь уже снаружи, теперь уже свою, — и постоял на ступенях, глядя, как над четырьмя свежими холмиками у площадки садится вечер. В журнале в ту ночь, в сторожке, он написал длиннее обычного: «База есть. Вода есть. Связь — будет. Переезд начинаю завтра». А ниже, отдельной строкой, после раздумья: «Убежище работает. Проверено худшим способом: оно спасает не от лихорадки. Оно спасает от всего остального. Буду пользоваться по назначению».

# Глава шестая

**СКЛАД**

Переезд занял четыре дня и ни одного происшествия — ровно так, как он любил.

Первого октября ушёл первый рейс: книга имён за пазухой, оружие, журналы, справочники, аптечка и ящик с радиостанцией — всё то, что не доверяется ни грузовику, ни завтрашнему дню. Вторым рейсом ехали продукты со сторожки и из-под навеса: штабель водки он пересчитывал при погрузке и при разгрузке, потому что антисептик был теперь дороже патронов, а патроны были дороже еды. Третьим — инструмент, одеяла, одежда, печные заслонки, которые он снял с печки сторожки, потому что заслонки эти были выкованы хорошо и знали его руку. Четвёртым, долгим, мучительным — бочки: две свои пятидесятипятигаллонные, полные, по четыреста фунтов каждая, он катил их по лежаку из досок и поднимал в кузов самодельной талью — ручным блоком, перекинутым через дерево, и к вечеру того дня у него болело всё, включая, кажется, волосы. В Пайн-Холлоу бочки встали рядом с казёнными, вымытыми, и колодец начал работать: он качал по двадцать ведер в день, фильтровал через ткань и кипятил, потому что колодец колодцем, а протокол протоколом.

Сторожку он консервировал в последний вечер, как консервируют дом, к которому не знаешь, вернёшься ли: печь вычищена, заслонки закрыты, на столе — записка для тех, кого нет, короткая, без объяснений, просто: «Вещи нужным. Берите. Еда в погребе». Печке он сказал вслух «спасибо» — и не смутился, потому что за месяц они с этой печкой перемолвились большим, чем он перемолвился за предыдущие пять лет с кем бы то ни было из живых. Постоял на пороге, где столько раз переступал через водку и ветер, посмотрел на озеро внизу, тёмное и ровное, с первой осенней рябью у дальнего берега, и ушёл, не оборачиваясь, потому что оборачиваться было не в его правилах.

Бункер принял его как принимают нового жильца: холодно, сыровато, но честно. Он обживал его по порядку, и порядок этот был ему приятен, как приятна бывает работа, у которой виден конец. Первую ночь он не спал почти — не от тревоги, а от нового звука: бетон держит тишину иначе, чем дерево, глухо и честно, и он лежал и слушал, как за тремя футами сводов ночует октябрь, а в фильтровентиляционном коробе шевелится воздух, который он сам прогнал рукоятью. Печь-буржуйку, привезённую со сторожки, он врезал на второй день в вытяжной канал генераторной и вывел трубу в старый вентиляционный стояк; первую настоящую ночь, с теплом, он спал на полу, на одеялах, и спал крепко, потому что впервые за месяц над ним был не дощатый потолок, а три фута бетона и плита, рассчитанная на вещи похуже погоды. План базы он начертил на обороте школьной карты округа и повесил в главном зале: жилая зона у печки, складская — дальняя комната, мастерская — генераторная, а у самой двери, в тамбуре, он разметил то, чего у убежища не было и что теперь будет: карантинную зону, с крюком для мешка и полочкой для бутылки. Воду он держал в четырёх казённых бочках, вымытых хлоркой и заполненных из колодца, — кипячёную отдельно, сырую технической отдельно, и наклейки «кип» переехали вместе с ним. Сеанс в восемнадцать ноль-ноль он проводил из дальней комнаты, сидя рядом с немой пока стойкой RACES: своя рация работала от аккумулятора, а большая молчала и ждала солярки, кабеля и мачт — и он каждый вечер, кончив сеанс, говорил ей, как говорят лежачему другу: потерпи. Поднимем.

И только когда база стала домом — то есть когда в ней была вода, тепло, еда на месяц и место для всего, что у него было, — он сел за карту и позволил себе подумать о том, что думал с самого супермаркета: месяц — это не запас. Месяц — это отсрочка. Зима в этих горах длится шесть месяцев, и человеку, который собирается пережить не только лихорадку, но и её последствия, нужен не магазин. Нужен склад.

Склад он знал — опять же, по старой памяти, по той же привычке читать не те документы, которые читают все. Оптово-продуктовая база ресторанного снабжения у самого выезда из города на его стороне, сорок миль от Пайн-Холлоу: низкое бетонное здание без окон, рампа на шесть фур, жёлтые пилоны. Такие склады не стоят на витринах и не попадают в новости — их знают водители фур и те, кто читает отчёты пожарной инспекции. Мародёрство идёт туда, где светится вывеска; на оптовую базу оно приходит третьей волной, или не приходит вовсе, потому что толпа грабит то, что узнаёт. Рис мешками по пятьдесят фунтов, соль тоннами, консервы номером десять рядами до потолка — толпе не нужен мешок риса, толпе нужен хлеб.

Разведку он провёл шестого октября, и это был день, который он потом вспоминал с удовольствием, потому что всё пошло по написанному.

Подъехал со стороны рампы, по инерции, с заглушенным мотором за двести ярдов, и последние двести ярдов прошёл пешком, по ветру. Респиратор — фильтр «№5», потому что четвёртый сутки отработал на переезде, — перчатки, винтовка, ломик за поясом рюкзака. У пешеходной двери у рампы он остановился и долго слушал: склад был тих тем деревенским покоем, который он уже научился отличать от городского, — без трупного застоя, без гула, просто большое здание, стоящее само по себе среди пустого асфальта. Дверь была заперта, замок не тронут, и это был лучший знак из возможных: не вскрытый замок значит, что внутри никто не побывал, а где никто не побывал, там и умереть некому.

Он вскрыл дверь ломом — аккуратно, за одну минуту, заметив, что взламывает теперь чужую собственность с той же невозмутимостью, с какой когда-то покупал её, — и вошёл в темноту с фонарём, держа дверь ногой, как положено: сперва ветер, потом звук, потом порог.

Свет лёг на ряды стеллажей, уходящие в темноту, и Дэн стоял и смотрел, и не богохульствовал только потому, что не имел привычки. Зал был двести футов в длину. Рис — паллетный ряд, мешки по пятьдесят, в два яруса. Мука рядом. Соль — отдельным блоком, поваренная и техническая, и у Дэна, который двадцать пять лет жил с мыслью о соли, перехватило дыхание: её здесь было не «много», её здесь было «навсегда». Консервы — десятым номером, ресторанным, банками в галлон: персики, фасоль, кукуруза, томат, — ряды уходили вглубь и смыкались где-то в темноте. Масло, уксус, сахар, кофе. Сода, спички, салфетки, перчатки нитриловые коробками — он остановился у этого ряда и молча поставил в блокноте звёздочку, потому что нитрил был расходником его протокола, а здесь его лежало на годы.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.